Царство Агамемнона

Автор:
Владимир Шаров

Царство Агамемнона

Владимир Александрович Шаров

Большая проза

Владимир Шаров – писатель и историк, автор культовых романов «Репетиции», «До и во время», «Старая девочка», «Будьте как дети», «Возвращение в Египет». Лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга».

Действие романа "Царство Агамемнона" происходит не в античности – повествование охватывает XX век и доходит до наших дней, – но во многом оно слепок классической трагедии, а главные персонажи чувствуют себя героями древнегреческого мифа. Герой-рассказчик Глеб занимается подготовкой к изданию сочинений Николая Жестовского – философ и монах, он провел много лет в лагерях и описал свою жизнь в рукописи, сгинувшей на Лубянке. Глеб получает доступ к архивам НКВД-КГБ и одновременно возможность многочасовых бесед с его дочерью. Судьба Жестовского и история его семьи становится основой повествования...

Содержит нецензурную брань!

Владимир Шаров

Царство Агамемнона

Памяти мамы

Начну с финала, который превратил эту историю в фарс. Я бы даже сказал, в постыдный фарс. Последнее мне особенно обидно теперь, когда страх отступил. Сейчас я всё чаще думаю, что то, к чему был причастен, чем занимался много лет, заслуживало другого. Впрочем, кто знает.

В прошлом, 2015 году – я только что вернулся из экспедиции – приятель, решив, что мне будет любопытно, по электронной почте переслал большую статью из английского “Эсквайра”. Речь в ней шла о нашем разведчике, проработавшем в Аргентине с 1968-го по 1990 год. Но дело вскрылось буквально вчера, так что материал был с пылу с жару. Причем вскрылось случайно. Когда вышли наружу все обстоятельства, начался огромный скандал. Он еще долго не уляжется, чересчур влиятельные люди оказались замешаны в это дерьмо. Вот суть напечатанного в “Эсквайре”.

Внук великого князя Михаила Романова Евгений – возможно, бастард – законных детей у князя Михаила не было, однако куда вероятнее, обыкновенный самозванец – в 1967 году бежит из советской Венгрии в Австрию. Промаявшись несколько месяцев в Европе, он без особых проблем получает политическое убежище, а с ним и вид на жительство в Аргентине. Дальше наш Евгений быстро и с необыкновенной легкостью становится завсегдатаем самых модных салонов Буэнос-Айреса и членом закрытых клубов. В общем, за два-три года делается своим в высшем свете аргентинской столицы. Это только начало.

К середине семидесятых Романов уже сам вовсю дает балы, спонсирует постановки в Национальной опере и возит из Франции импрессионистов. Его имя не сходит со страниц газет, а тут вдруг “Эсквайр” почтенной публике объявляет, что он никакой не Романов – самый заурядный чекист. Впрочем, ясное дело, удачливый. Двадцать лет с гаком этот приблудный Романов руководил советской резидентурой в Латинской Америке – то есть от границ Мексики с Соединенными Штатами на севере до Огненной земли на юге. Был тем человеком, благодаря которому в Кремле и в Гаване знали, что? происходит во дворцах здешних правителей. Как он сумел себя так поставить, прослеживалось в “Эсквайре” шаг за шагом, и всё равно чисто остапбендеровская грация, изящество, с каким он принимал то, что ему подносилось на блюдечке, лично меня привели в восторг.

Итак, австро-венгерская граница. Впрочем, и с Венгрией большой вопрос, но мы его пока обойдем. Дальше – Европа, где что, как и когда – полный мрак. Такое

ощущение, что в Германии и Франции он звено за звеном проверял, прозванивал свою “легенду”, заодно практиковался в языках, оттачивал произношение. Вообще способности у него были редкие, а музыкальный слух настоящего пересмешника: он не врал не только в грамматике, но и в звучании речи.

Почувствовав себя уверенно – дело было в Мадриде, – наш чекист обратился в Аргентинское посольство. В Буэнос-Айресе поначалу у него были проблемы. Никакой постоянной работы – да он ее и не искал, всё время проводя в танцклассах, где, как прежде языки, до самозабвения шлифовал па разных направлений и школ танго. От природы очень пластичный, это, как многое другое, наш герой осваивал легко. Тогда он еще не был Евгением Романовым. На собеседовании в посольстве он выдал себя за солдата Ференца Надя, по происхождению полунемца-полувенгра, родом из города Тимишоара в Трансильвании. И объяснил, что перешел австрийскую границу, спасаясь от большевиков. С венгерским у него были трудности, немецкий, наоборот, отличный.

Кстати, “Эсквайр” предположил, и это кажется разумным, что “венгерский солдат” – его, так сказать, “родовая легенда”. Романовым же он стал на свой страх и риск. Более того, на великокняжеское происхождение было наложено вето, на Лубянке рассудили, что громкая фамилия лишь привлечет внимание к нему самому и к тем, кто будет с ним связан. Что, понятно, никому не нужно. Но Надь настоял на своем. Строптивых не любят, и Москва поначалу встала в позу, отлучила ослушника от груди. Отсюда танцклассы и почти год жизни простым жиголо. Кстати, танцевал он обычно в костюме, очень напоминающем мундир конногвардейского полка. Впрочем, едва выяснилось, что аргентинские барышни в новом великокняжеском обличье его с рук не спускают, Центр решил дать шанс и Романову. Жалеть не пришлось. Русоволосый красавец с зелеными глазами, в которых, как писал “Эсквайр”, женщины тонули, будто в омуте, к тому же настоящий атлет – фигура и мускулы борца-классика, – он считался неотразимым. Так оно, по-видимому, и было.

Еще в бытность жиголо, Романов, беря с каждой клятву, рассказывал своим подругам, что, хотя документы у него на имя Ференца Надя, на самом деле он никакой не венгр и никакой не Надь, а прямой наследник российской императорской короны. Когда последний русский царь Николай II увидел, что началась революция и власти ему не удержать, он передал престол своему брату, великому князю Михаилу Романову, родному деду нашего Евгения.

В 1918 году – в России уже вовсю шла Гражданская война – Михаила Романова выслали в уральский город Пермь на реку Каму, где он, предчувствуя скорую гибель, развелся с женой, княгиней Брасовой, через месяц тайно обвенчался с фрейлиной своего двора, другой княжной, Лидией Мещерской-Беспаловой, которую давно любил. Жили они вместе недолго. Но когда в том же восемнадцатом году большевики, видя, что народ всё тверже берет сторону великого князя Михаила, единственного, кто был способен прекратить братоубийственную войну, вывезли его в лес и расстреляли, Лидия уже носила под сердцем наследника российского престола. Царственный младенец появился на свет божий в небольшом городке Чистополе – от Перми, если плыть по Каме, пара дней пути – и был окрещен в местной церкви под именем Александр. Впрочем, в метрике, чтобы вслед за отцом не убили и сына, мать записала Александра не Романовым, а Мещерским.

Дальше вся юность князя Мещерского прошла в голоде, холоде и крайней нужде. Лидия и он, спасая свои жизни, будто неприкаянные, скитались по стране, бегали из города в город, из деревни в деревню. К счастью, везде находились добрые люди, готовые их спрятать, накормить и согреть. Великий князь Михаил был так любим народом, что многие, хоть и знали, что это грозит им долгим тюремным сроком, давали его вдове и молодому князю кров над головой и деньги, чтобы добраться туда, куда они шли.

Удача изменила Александру Мещерскому только в сорок первом году. Судьба настигла его на восточной окраине Великой Казахской степи, в небольшом городке Усть-Каменогорске, в который они приехали двумя днями раньше. Утром на улице князя (он был без матери) остановил патруль, двое милиционеров. Они не стали разбираться, кто он на самом деле, просто отвели Мещерского в здание – в Советской России оно называлось военкоматом, – откуда солдат-новобранцев отправляли проходить действительную службу. В тот же день – солнце еще не зашло – их, почти сотню человек, на местной железнодорожной станции затолкали в эшелон, который шел на запад, в направлении новой советско-германской границы. После недавнего раздела Польши на ней пока не было ни войск, ни укреплений. Обычный сельский пейзаж, который даже не ведал, что где-то в Москве и Берлине простой карандашной линией его только что разрезали на нашу сторону и германскую. Там же, на станции, Александр, к счастью, успел бросить в почтовый ящик открытку для матери. Эта почтовая карточка стала для нее последней весточкой от сына. Больше она никогда ничего о нем не слышала. Так и сошла в могилу в 1959 году, не зная, жив он или нет.

Уже в эшелоне Мещерский узнал, что конечный пункт их назначения – учебная военная база недалеко от города Рахова, что в Закарпатской Украине. Там они должны будут пройти начальную военную подготовку, официально она именуется “курс молодого бойца”. Вещь как будто нужная, даже необходимая, но в итоге всё свелось к бесполезной и нескончаемой муштре.

За два месяца Мещерского и других солдат не то что не выучили стрелять, они даже ни разу не держали в руках настоящей винтовки. Зато вдоволь было выделанных из березовых поленьев муляжей, с которыми рота по 12 часов в день оттачивала строевые артикулы. Под командованием совершенного зверя, старшины-сверхсрочника, разучивала разные виды равнений и построений, на плацу браво печатала шаг, отдавала честь и выгибала грудь колесом.

Там же, на плацу, впрямь как гром с ясного неба их застала война. Прилетела эскадрилья немецких штурмовиков и пара бомбардировщиков; в один заход они сбросили на базу десяток фугасных бомб и несколько зажигательных; этого было достаточно, чтобы началась паника. Ее и не пытались унять. Тушить горевшие казармы, ангары, склад с боеприпасами тоже никто не стал. А еще через три дня, когда немцы подогнали к базе три танка и два взвода пехоты на мотоциклах, солдаты, которым так и не раздали ни настоящих ружей, ни патронов, вместе со своими командирами подняли руки вверх и строем пошли сдаваться.

Дальше был лагерь для военнопленных. О том, как там сложилась жизнь его отца, Евгений Романов рассказывал очень подробно. Гнать пленных никуда не стали, под лагерь приспособили ту же военную базу, на которой еще вчера Александра Мещерского и его товарищей учили маршировать. Позже, когда линия фронта приблизилась, лагерь, а с ним и его насельников – к тому времени почти десять тысяч человек – переместили на запад, за Балатон. Небольшую заболоченную низину обнесли колючей проволокой, поставили вышки для часовых, а вокруг плаца, где перед работой происходил развод, сами пленные, сведя их в каре, выстроили пять десятков бараков. Неподалеку было порядочное месторождение железной руды, рядом металлургический заводик, и места отправленных на фронт венгерских рабочих заняли военнопленные.

Жизнь была тяжелая, работать приходилось много, а кормили впроголодь, хотя, конечно, сравнивать их лагерь с немецкими же лагерями смерти невозможно. В итоге что такое настоящий голод, князь Мещерский в лагере не узнал. Под Раховом начальником у них был пожилой офицер-шваб по имени Грюнне. Он

воевал еще на предыдущей войне, а до того работал приказчиком в одной из петербургских ювелирных лавок.

Сразу распознав в Мещерском породу и выяснив, что немецкий у князя тоже хорош, он сделал Александра своей правой рукой. Когда же узнал его историю, стал и вовсе относиться как к сыну. В разговорах за рюмкой водки, хорошо зная русских, уважая их, Грюнне много сокрушался недальновидностью берлинских политиков. Говорил, что если бы Германия захотела привлечь к себе те миллионы солдат, что попали в плен в первые два года войны, большевики давно бы капитулировали.

Гитлеру следовало восстановить монархию: “Что было бы плохого для Германии, если бы он посадил на русский трон, например, тебя, дорогой Александр? – говорил Грюнне. – Если бы уничтожил колхозы и вернул крестьянам землю?”

Он, Грюнне, готов дать руку на отсечение, что Германия обрела бы тогда в России самого близкого друга и преданного союзника. А против такой силы проклятым англосаксам не устоять. Но Гитлер оказался близорук, и это погубит Германию. Грюнне относился к Александру Мещерскому с полным доверием и в нарушение всех правил выписал ему пропуск, который давал право в любое время и без каких- либо препятствий покидать лагерь и возвращаться обратно.

Положение Мещерского не ухудшилось и в Балатонском лагере, где тоже было много русских военнопленных. Начальником здесь служил некий Велш – старый приятель Грюнне и тоже шваб, но из другого маленького городка в Шварцвальде. Грюнне дал своему протеже такую рекомендацию, что и на новом месте Мещерский, сделавшись личным переводчиком Велша, имел полную свободу.

Это спасло ему жизнь в апреле сорок пятого года, когда советские войска уже подходили к их лагерю. С помощью того же Велша в венгерской военной комендатуре Мещерскому оформили документы на имя Дьердя Надя и помогли бежать в Австрию, в будущую американскую зону. Уже было известно, что американцы венгров не выдают.

Здесь же, в Австрии, он вскоре женился на девушке, которую за три года до того, пятнадцатилетней, угнали на работы в рейх. Сменив несколько ферм, она в итоге тоже оказалась в Австрии. Звали ее Катя Максакова. Она была из хорошей

дворянской фамилии, милая, добрая, красивая, и Мещерский влюбился в нее без памяти. Двумя месяцами позднее он как Надь обвенчался с ней в русской православной церкви города Граца.

В лагере на сигаретах и письмах Мещерский заработал неплохие деньги, на них там же, в Граце, молодожены сняли уютную квартирку с видом на горы и целый год прожили вполне безмятежно. Единственное, что огорчало Катю, – ее руки. Три года она была скотницей на ферме, с утра до ночи убирала из хлева навоз, ухаживала за коровами, мыла, задавала им корм, доила, и ей казалось, что этой черной работой руки ее навсегда загублены. Впрочем, ванночки с настоем из альпийских трав в конце концов выгладили кожу и сняли воспаление суставов; пальчики снова стали тонкими, изящными, будто она никогда не делала ими ничего другого, кроме как играла на клавикордах. Все же память о том, что? им пришлось пережить, осталась. Стоило зимой выпасть первому снегу, руки мерзли даже в меховой муфте.

Пока они жили в Граце и были деньги, Мещерский колебался, не мог решить, что им делать дальше: пытаться остаться в Австрии или попробовать перебраться в Америку. Он спрашивал и Катю, но той было всё равно, она лишь повторяла, что рядом с Александром ей везде хорошо и разницы нет. В конце концов выбор пал на Аргентину, но за то время, что они раздумывали, визы, билеты и остальное, что было необходимо, чтобы добраться до Буэнос-Айреса, сильно вздорожало, и оказалось, что денег не хватает.

Балатонский лагерь оставил Мещерскому хорошие связи, и, пытаясь заработать, он вместе с Катей стал возить через границу американские доллары, на которые в Венгрии был хороший спрос. Несколько раз сходило гладко, но однажды венгерские таможенники их задержали, и, если бы Мещерский не откупился, история закончилась бы тюрьмой и немалым сроком. А так у Дьердя Надя с супругой просто отобрали австрийские документы, сказали, что раз они венгры, то и жить им следует в Венгрии. После чего велели убираться. Оттого он, Евгений Романов, по легенде, и родился уже в Венгерской народной республике, в городе Секешвароше. Произошло это в 1946 году.

Но вернемся в Буэнос-Айрес. Рядовым жиголо Евгений Романов пробыл неполный год, а затем его взяла на содержание по-прежнему очень красивая, хотя и начавшая увядать вдова богатого местного предпринимателя, некая Валерия ла Томба. Она любила объяснять подругам, что Романов до того пришелся ей по

вкусу, что свою жизнь без него она теперь и представить не может. Список достоинств был бесконечен, даже краткая его версия из “Эсквайра” выглядит внушительно. И стати у ее дорогого Эжена, как у греческого бога, и любовник он такой сильный, умелый, каких свет не видывал, опять же – великолепный танцор: стоит ему взять даму за талию, повести ее по паркету, она и впрямь обо всем забывает, не касаясь земли парит, парит и парит.

Ей нравилось и его умение вести себя в обществе. Сама родом из знатной наваррской семьи, она считала его манеры безупречными. Валерия видела и одобряла, что он любит всё изящное, может часами подбирать к рубашке и пиджаку галстук и запонки. И остроумие у него было того редкого галльского пошиба, который с тех пор, как уехала из Франции, она ни в ком не встречала. Вдобавок он знал бездну французских и немецких любовных элегий, которые сам, переложив на музыку, часами напевал ей под гитару. У Эжена был, пусть и небольшой, но приятный с хрипотцой баритон. В общем, она была от него без ума, не хотела отпускать и на шаг, но во многие дома приходить с наемным танцором было не принято. В итоге, всё взвесив, она женила его на себе.

Брак с ла Томба, как ни посмотри, – поворотная веха в карьере Романова. Что касается Аргентины, то здесь он сразу стал и богат, и желанный гость на любом светском рауте. Высшее общество Буэнос-Айреса наконец оценило то, что раньше видела одна Валерия, и теперь встречало Евгения с распростертыми объятиями. Его остроты гуляли по городу, его вкус, умение одеваться и поддерживать беседу стали чуть ли не эталонными, в общем, в нем признали русского великого князя и гордились, что удостоились его дружбы.

Та же метаморфоза с Лубянкой. Сначала, писал “Эсквайр”, Москва и знать о нем ничего не хотела, потом стала смотреть в его сторону – хоть и искоса, но с интересом, – а тут в одночасье он сделался любимым сыном родины. Ее надеждой и опорой.

Между тем, он и ла Томба наслаждались жизнью, и казалось, что так будет всегда. Но на земле рай – штука недолговечная. В 1972 году, то есть не прожив с Евгением и пяти лет, Валерия за пару месяцев сгорела от рака шейки матки, который врачи как-то пропустили. После траурной церемонии – на ней были все, включая тогдашнего президента Аргентины, – когда спустя неделю вскрыли завещание ла Томба, оказалось, что свое движимое и недвижимое имущество Валерия, обойдя родных детей, оставила единственному наследнику Евгению Романову. Начались судебные тяжбы. Дети ла Томба то требовали признать

завещание поддельным, то утверждали, что, когда оно было составлено, их мать уже не отвечала за свои действия.

Последнее могло быть правдой: Валерия умирала в страшных мучениях, чтобы хоть как-то облегчить боли, ей чуть не каждый час кололи морфий, а в подобном состоянии отдаешь ты себе отчет в том, что делаешь, или не отдаешь, сказать трудно. Но судебные инстанции (интересы Романова представляла на процессе молодая, но очень яркая адвокатесса Кристина Мендес де Силва) одна за другой брали сторону Евгения. Наконец, был вынесен и вердикт Верховного суда. Среди прочего в нем говорилось, что завещание Валерии ла Томба составлено в полном соответствии с законом; что же касается преамбулы (она под диктовку была записана ее нотариусом), где ла Томба заявляет, что всё свое состояние она передает в руки великого князя Евгения Романова, что он может распоряжаться им, как сочтет нужным, с тем, однако, чтобы великий князь помнил: цель его жизни – восстановить справедливость, вернуть себе русский престол, – то, вопреки мнению истцов, текст свидетельствует не о помутившемся рассудке их матери, но, напротив, о том, что завещательница до последних дней находилась в здравом уме и твердой памяти. Впрочем, сразу после оглашения вердикта Евгений Романов распорядился ровно половину состояния жены поделить между двумя ее дочерьми и сыном, что свет расценил как акт истинно царской щедрости, еще одно свидетельство его благородного происхождения.

Сделавшись владельцем большого состояния, Романов не стал с места в карьер восстанавливать монархию в России, – по-видимому, рассудил, что время не приспело; а пока суть да дело, занялся экспортно-импортными операциями. Что в тех, что в других Москва много ему споспешествовала. В результате не прошло пары лет, а через руки Романова текла половина зерна и говядины, которые Аргентина продавала России. Встречным же курсом, из России в Аргентину, плыли танкеры, под завязку груженные соляркой. Когда стало ясно, что торговля идет по накатанной колее, как бы сама собой, и ему нет нужды безотлучно находиться в Буэнос-Айресе, Романов решил еще раз пересдать карты. На имя той же Кристины Мендес де Силва была выписана генеральная доверенность, что же касается себя, то Романов объявил: с делами покончено, отныне он будет жить частной жизнью – в сущности, то ли русским, то ли креольским барином.

Для этого из оборота была выведена часть денег – не слишком значительная, – на них под асьенду куплена узкая горная долина, вся целиком от истока – одной из вершин Анд – до устья – бескрайней аргентинской пампы. В послании Мендес

он по обыкновению почти телеграфно писал: “Со мной тут одиннадцать человек. Пара садовников, лесничий, он же егерь, говорит, что знает толк и в собаках – посмотрим; агроном, старый опытный гаучо и два архитектора. Один будет заниматься парком, другой – строить резиденцию. Добавь повара и десять человек прислуги, включая семерых конюхов. Дорог нет, иначе как на лошадях сюда не попадешь. Когда по пампе едем друг за дружкой, караван растягивается на километры”.

В следующем, спустя месяц: “Долина – нет слов. Фернандес – мерзавец отъявленный, клейма ставить негде, но тут не обманул. Места девственные, а до Буэнос-Айреса нет и восьмисот километров. Здесь никто никогда не жил. Не знаю, почему прежний хозяин никого не селил. Может, считал, что далеко и пастбищ мало. Впрочем, для меня достаточно. Первым делом на пару с егерем прошли долину. Последнюю палатку ставили прямо на лед. Выше только скала, почти отвесная, иначе бы влез – да небо. Вся дорога – верных сорок километров – две трети камни и бурелом – столько же обратно. Что буду делать, уже решил, обещаю нечто сногсшибательное”.

Через неделю: “В сущности, это берега горного ручья. Тут и водопады, и теснины, прочие красоты. В сезон дождей ручей, говорят, сильно разливается, но и сейчас, в сушь, тоже дай бог. Его надо обыграть, и оба архитектора говорят, что знают – как. Ясно одно, сверху вниз всё делится на ярусы – по науке высотная поясность, – между ними ручей скачет, будто горный козел. Должна получиться многотеррасная (я насчитал семь) этажерка. Первый ярус – он примыкает к долине – кусок пампы. Земли тут гектаров пятьсот, если больше, то ненамного. Гаучо сказал, что можно пасти сотню бычков и десятка три лошадей. Завезу английскую верховую породу, она мне давно нравится.

Дальше, и значит, выше, будто комок в горле, невысокий холм с пологими склонами. Холм – на откуп садовникам. Южная сторона под виноградники, остальное фруктовый сад и розарий. Здесь ветровая тень, значит, всему будет хорошо. Еще выше пояс широколиственных лесов. На опушке и поставлю резиденцию. В каком стиле, пока не думал. Вокруг немало старых деревьев – дубов, кленов, буков, много граба. Уберем валежник, выкорчуем кусты, молодняк, будут вековые деревья и газон, в общем, в английском духе”.

В следующем письме от 16 июля 1975 года: “О высотной поясности уже писал. В нашей долине всё по науке. За широколиственными лесами – хвойные. Как в Альпах – большей частью ели. Высокие, мощные деревья и стоят нетесно. За

ними луга, опять же а-ля альпийские, это, если не сбился – пятый ярус. Еще выше – сотни метров каменных осыпей, а на них сверху языком наползает ледник. Между прочим, готовый горнолыжный спуск. Осталось сделать подъемник. Трасса выйдет недлинная, примерно в километр, и несложная, но для таких «профессионалов», как я, в самый раз”.

Та же долина и тот же адресат, три года спустя, летом 1978 года: “Отчитываюсь по полной программе. Перво-наперво, Видела (в “Эсквайре” сноска: тогдашний президент Аргентины) настоящий друг. Проложил дорогу (почти 50 километров) и сделал вертолетную площадку. И то и то за счет казны. Стоило, как понимаешь, недешево. В общем, царский подарок. Теперь добраться нетрудно – можно и на машине, и по воздуху.

Дальше – мои траты и что из них вылупилось. Бычки набирают вес, чувствуют себя отменно. У лошадей, тех, что английские верховые, претензий ко мне тоже нет. Катаюсь, езжу с гостями на охоту. Пару раз даже устраивали настоящие скачки. Короче, не зря я на них глаз положил.

Сад тоже не подкачал. Он, насколько могу судить, разбит по всем правилам, и лоза принялась как надо. Сорта разные, но садовник клянется, что вина будут высшего качества. Солнца, как на юге Италии, потому лоза сплошь итальянская – несколько сицилийских сортов, в том числе сухие мускаты, белые и красные, а по краям, где солнца меньше, кампанские. Вдобавок под слоем чернозема – толстый пласт мела, виноград его любит; и еще один плюс: по словам садовника, в нашем меле, что редкость, бездна правильных микроэлементов. Они добавят лозе силу, а вину – букета. Это не слова. Молодое вино – урожай прошлого года – и вправду чистый сок.

Выше виноградника по плану должен был быть парк и резиденция. Планы – в жизнь. От предначертанного никаких отступлений. Вилла – на самом деле настоящий дворец – просто сказка. Уже есть название – «Элизиум». Всё в мавританском стиле. Витые колонны, арки, вниз в сад уступами спускаются лестницы и террасы. Над ними навесы из вьющихся роз, винограда и плюща. Красота неописуемая. Никогда бы не поверил, что такое можно сотворить за три года. Парк тоже хорош. Несколько сот старых деревьев – иногда купами, вокруг – выкошенная трава. Это еще не настоящий газон, для газона нужно время. Нет и дорожек, но всё равно красиво. Смотрится что надо!

До остальной части леса руки пока не дошли. В ней много дичи – олени, косули, полно фазанов и тетеревов, так что домой иду с полным ягдташем. Но что лес придется чистить – понимаю. Понимаю, и что работа тут не на один год. Сушняка, бурелома, особенно по берегам ручья, столько, что к воде часто не подойдешь. Смириться было бы не по-хозяйски.

С лугами и каменными осыпями, наоборот, всё чин-чинарем. Какие есть – такими пусть и будут. Здесь ничего трогать не стану. Выше, как уже тебе писал, ледник. Тянется почти до вершины. На леднике много нового. Внизу, у самого подножия, приличных размеров дом. Живет в нем тренер по горным лыжам. Выписал из Франции. Профессионал, побеждал на этапах Кубка мира. Француз этот голова, и с руками у него в порядке. Починит что хочешь. Настоящий мастер, вдобавок диплом судового механика. Дом строили по его проекту.

В подвале мотор и зубчатое колесо. На первом этаже личные апартаменты француза: три комнаты плюс хорошая финская баня, чтобы согреться, и бар с кофе и крепкими напитками. То есть согреться можно и так. Из подвала через бар, наискосок, от пола до потолка – натянутый трос. Закрученные в канат все в масле стальные жгуты. И вот ты за стойкой, с рюмкой, а руку протяни – этакая махина движется, скрипя ходит, ходит туда-сюда. Мощная штука и смотрится классно. Это не дизайн. На втором этаже колесо кресельного подъемника. Как раз его трос и крутит. Француз – просто гений, всё работает как часы. Там же, на втором этаже, его мастерская и комната, где хранятся лыжи, ботинки, крепления. Есть на любой размер, найдем и для твоих крошечных ножек, только бы приехала”.

После семьдесят восьмого года “Элизиум” уже живет своей жизнью. На вилле немалый штат, человек сорок, не меньше. Разного рода обслуга – отлично вышколенные горничные, официантки. Девушки красивы, грациозны и, по слухам, начинали в тех же танцклассах, где когда-то сам Романов. По тем же слухам, они не отказывают гостям и в большем, чем просто чашка чаю.

Это как бы внутри дворца, а снаружи в высшей степени профессиональная охрана. Репортеров, фотографов, прочую пишущую братию к вилле Романова не подпускали и на пушечный выстрел, то есть что на самом деле происходило в “Элизиуме”, никто толком не знал. Конечно, название виллы время от времени возникало на газетных полосах, но обычно мельком, – сообщить, в сущности, было нечего.

Кроме только что помянутых и тех, о ком Романов писал Кристине Мендес раньше, я имею в виду немолодого гаучо, егеря (он и вправду подобрал небольшую, но быстро сработавшуюся свору гончих), француза, который наладил подъемник и теперь самовластно правил горнолыжным спуском, – эти, как сюда приехали, так и остались, – в “Элизиуме” появились новые лица. Еще один француз-повар, а к нему в придачу два поваренка. Всю троицу Романов переманил из отличного французского ресторана. Кухня на вилле была на зависть. Другая гордость хозяина – сомелье, итальянец из Сиены. Вина, что подавались к столу, были делом его рук; их букет, аромат, тонкость вкуса ни разу не вызвали нареканий.

На вилле была и своя музыка, тоже недурная. Квартет – фортепиано, две скрипки, виолончель – хорошие музыканты, они на равных играли классику, цыганщину, любые аргентинские мелодии. Они же аккомпанировали двум голосам: приличного уровня баритону и исключительного качества меццо-сопрано. Таким меццо гордился бы даже “Ла Скала”, но из-за астмы на длинные оперные партии певице не хватало дыхания. Оттого предложение Романова и было в конце концов принято.

“Всё же, – писал дальше журналист из “Эсквайра”, – смею думать, что не развлечения и нескончаемые удовольствия: лошади, охота, музыка и девушки – влекли гостей в «Элизиум». И не то, что владелец был гостеприимен, хлебосолен, что называется, открытой души человек. Куда важнее была конфиденциальность”.

Друзья Романова – многочисленные, но равно незаконные дети великого Боливара – по-разному смотрели на мир. Их армии всегда были готовы взяться за оружие или уже взялись, а были еще монополии, были повстанцы, наркобароны и профсоюзы. Прибавьте наставников и воспитателей из Вашингтона, Гаваны, Москвы; то есть, когда у чиновных знакомых Романова, как когда-то у его двоюродного деда Николая II, голова начинала идти кругом, он звал их к себе. Кормил изысканным обедом, а дальше, после сигар и кофе с коньяком, уже отчасти примиренных с жизнью, усаживал за другой стол – переговорный.

Результат был. Тем более что хозяин – человек нейтральный, что называется, честный маклер, был тут как тут. Что-то подсказывал, на ходу изобретал, в итоге выход находился. А ведь прежде всё казалось безнадежным. Было еще одно, что вызывало к Романову уважение. Политика – грязная штука, и у себя дома друзья владельца “Элизиума” нередко попадали в нехорошие истории. Так вот, если

просили помочь, Романов не отказывал. Благодаря деньгам, связям улаживал дело. Да так аккуратно, что ни разу никого не подвел.

Жизнь катилась как по рельсам двенадцать лет. Поток гостей в “Элизиуме” не иссякал, пока в 1990 году не случилась беда. Романов, который не просто самовластно правил этим земным раем – но был его душой, погиб, катаясь на горных лыжах. Землетрясение вызвало сход лавины, она и погребла его под собой.

Вообще в Андах что землетрясения, что лавины не редкость. Трясло и в тот день, хоть не сильно. Но дело было в октябре, в Южной Америке это весна, в горах много тяжелого мокрого снега. Вместе со льдом и камнями он, будто экспресс, с ревом промчался по долине, как спички смел с лица земли мачты подъемника вместе с домом тренера-француза, поломал пару сотен больших елей и, лишь упершись в гряду скал, выдохся. Француз не погиб, он был внизу, в конторе, а вот Романова больше никто не видел. Впрочем, тело его почти не искали, слой наносов был чересчур глубок. Для очистки совести следующим днем потыкали щупами, потыкали и ушли. Хозяина не стало, и уже через год Кристина Санчес писала подруге, что “дворец никому не нужен и заброшен, живут там только два человека – старик-сторож и охранник. Асьенда в запустении, быстро разрушается”.

Крупные буэнос-айресские газеты без исключения отозвались на смерть Евгения Романова большими статьями и подробными некрологами. Но “Эсквайр” привлекли не некрологи, а фраза из “Ла-Платского телеграфа”, где было сказано, что последние полгода жизни покойный часто бывал невесел, и причиной тому заявления его европейской родни. Например, “Таймс” и “Монд” писали, что американские и европейские Романовы обеспокоены активностью своего аргентинского кузена, вернее же всего – просто самозванца. Что депутация из глав каждой ветви великих князей в ближайшее время отправится в Буэнос-Айрес, и там на месте будет разбираться, кто этот новый Романов, откуда он вообще взялся. Если окажется, что обыкновенный мошенник, к делу придется привлечь полицию.

История началась не вчера. Романовы только после недавней войны с немалым трудом сумели договориться о принципах старшинства и кончить свары, а тут чертиком из табакерки возникает наш Евгений, снова всё рушит. Деньги у него немереные, прорываясь к власти дорогими подарками, взятками, он сманивает на свою сторону одного члена царствовавшего дома за другим. Если его не

остановить, опять начнется анархия. Она окончательно всех скомпрометирует. Сделает из русского императорского дома балаган.

Впрочем, разговоров было много, но билеты не куплены и места в отелях не забронированы. Стоило Евгению Романову сгинуть под десятью метрами снега, уйти, будто его и не было, об этих планах больше не вспоминали. Но на “Элизиуме” смерть Евгения Романова поставила крест. Когда в положенный срок вскрыли завещание, стало известно, что оно – калька завещания его супруги Валерии ла Томба. Всё свое движимое и недвижимое имущество Романов распорядился передать единственной наследнице – Кристине Санчес, причем с той же самой целью возвращения на русский трон законной династии Романовых.

После смерти Евгения Кристина Санчес бывала в “Элизиуме” несколько раз, но никогда не ночевала, было видно, что визиты сюда ее тяготят. Во второй свой приезд она привезла на асьенду хорошего опытного управляющего, но толку не было. Без Романова люди один за другим уезжали и остановить распад не получалось. Будто не желая жить при новых хозяевах, “Элизиум” на глазах хирел. Поначалу Кристина все-таки пыталась что-то сделать, но скоро отчаялась, решила продать имение. Но и тут ничего не вышло. Агент, который должен был подыскать другого владельца, побывав в “Элизиуме” через пять лет после смерти Романова, объявил, что продавать, в сущности, нечего. Та лавина, что убила прежнего хозяина, повалила сотни деревьев, в нескольких местах они перегородили ручей и во время паводка вода регулярно выходит из берегов, затапливает дворец. Стоит в нем по месяцу и больше. В итоге сырость неимоверная, наборный паркет вздыбился и пошел трещинами, лепнина отвалилась, а тканая обивка на стенах наполовину съедена плесенью. То же и вокруг дворца. Террасы с лестницами занесены песком, глиной, илом; виноградник зарос сорняками и одичал; парк снова сделался обычным лесом. Привести дворец в порядок нечего и пытаться. Проще разобрать и строить заново. Короче, за сколько купили землю, за столько ее можно продать, а остальное гроша ломаного не стоит.

После этого об “Элизиуме” не вспоминали почти четверть века, пока еще одно печальное событие не вернуло поместье на первые страницы не только латиноамериканских газет. В 2015 году в своей квартире в фешенебельном районе Буэнос-Айреса, на углу бульвара Карла Арагонского в доме № 11, Кристина Санчес покончила с собой. По-видимому, она хотела уйти из жизни тихо, никого не тревожа, оттого стрелялась через подушку, но соседи всё равно

услышали выстрел и вызвали жандармов. Полицейское управление находилось буквально в двухстах метрах от дома Санчес, на четной стороне того же бульвара, и бригада приехала уже через пять минут. Думали – ограбление, но, взломав дверь и комната за комнатой обойдя квартиру, в кабинете Санчес капитан полиции, который должен был проводить дознание, понял, что хозяйка собственноручно свела счеты с жизнью.

Самоубийство по аргентинским законам – серьезное преступление и, расследуя подобные дела, принято проводить тщательный обыск. С капитаном были четыре жандарма. Они разошлись по комнатам и начали так называемую выемку документов. Нашли огромное количество счетов, других деловых бумаг и среди прочего сотни писем и документов, по всей видимости, на русском языке. Позвонили в управление и попросили прислать человека, который мог бы в этом разобраться. Пока его ждали, как снег на голову приехали сотрудники российского посольства в Буэнос-Айресе: несколько человек, судя по выправке и карманам, отклячeнным пистолетами, охранники и с ними дипломат высокого ранга. Он предъявил документы на имя Николая Иванова – первого советника посольства, и заявил, что полиции в данной квартире делать нечего. Покойная Кристина Санчес имела двойное гражданство – аргентинское и российское, являлась работником посольства, соответственно, ее квартира обладает дипломатическим иммунитетом. Иванов держался очень уверенно, и старший в полицейской бригаде, капитан, человек немолодой, довольно робкий, был склонен с ним согласиться.

У Аргентины с Россией были тогда отличные отношения. Кроме того, в спальне хозяйки, в сейфе, они в самом деле нашли российский паспорт с фотографией Кристины Санчес, выданный на имя Елены Владимировны Горбуновой. Было похоже, что дипломат прав и ему, простому капитану, путаться сюда не стоит. Он дал команду прекратить обыск, что разрядило обстановку. Жандармов и посольских было по пять человек, то есть силы равны, отчего и он, и советник посольства сильно нервничали, а тут и его люди, и охранники сели по обе стороны от сползшего с кресла тела покойной Санчес и заговорили о футболе.

Всё же капитан колебался. В этой истории были подводные камни, он их чувствовал, боялся ошибиться. В общем, еще ничего не было решено, когда в кабинет Санчес вошел детектив из полицейского управления. Переводчика найти не сумели и послали детектива. Правда, он был из семьи русских эмигрантов и язык знал неплохо.

Новый человек – всегда главный, и советник посольства стал читать ему лекцию о дипломатическом иммунитете. Читал грубо, нагло, видно было, что Аргентину он в грош не ставит. Конечно, тон был взят возмутительный. Полиция в Аргентине – какая-никакая власть, и хамить так откровенно не стоило. Но советник впал в раж и уже не мог остановиться. Как и капитан, детектив понимал, что для присутствующих – неважно, кто они: жандармы или посольские охранники – добром дело не кончится.

Но ясно было и другое – по указке черт знает кого просто повернуться и уйти из квартиры Санчес тоже нельзя. Этого им не простят. Он отвел капитана в другую комнату и принялся втолковывать, что без согласия их собственного начальства уходить неправильно. Надо позвонить в полицейское управление и в МИД. Капитан дал добро и, вернувшись в кабинет, Санчес сказал советнику, что они еще ненадолго задержатся, необходимо уладить формальности. Было видно, что дипломат недоволен, даже очень недоволен, но считает, что идти напролом повода пока нет.

Первым отозвался МИД. Оттуда сообщили, что имела или не имела Кристина Санчес российское гражданство, они понятия не имеют, но в списке сотрудников Российской миссии Кристина Санчес не значится, соответственно ее квартира иммунитетом не обладает. Только капитан повесил трубку, как позвонили из полицейского управления, подтвердили то, что сказал МИД, и потребовали немедленно удалить из квартиры покойной Санчес посторонних. Капитан попытался объяснить, кто такие эти посторонние, но его и слушать не стали, повторили лишь, что удалить – значит удалить.

Дело вновь начало обостряться. Вместо того чтобы и дальше мирно говорить о футболе, полицейские и охранники, теперь набычившись, стояли друг против друга. Как и положено – правая рука в кармане на пистолете, – они нервно ждали команды. Впрочем, отмашки до сих пор не было. И советник, и капитан еще надеялись кончить всё по-хорошему, но оба боялись, что уже не получится.

Явного перевеса ни у кого – ситуация патовая. Однако время работало не на советника, и, как прежде капитан, он, выйдя в соседнюю комнату, принялся названивать начальству. Попеременно в посольство и в Москву. Посольство не хотело неприятностей, Москва от одной мысли, что квартира Санчес достанется аргентинцам, билась в истерике. Раз нельзя по-другому, пусть применит силу, орали ему.

Свести между собой то и то не получалось. Советник давно понимал, что для него всё одно – клин. Москва и посольство соображали медленнее, но скоро и они перестали отвечать на звонки. Советник знал, что стрелять ни при каких условиях не будет, но для приличия тянул время, ждал еще час: вдруг в совсем уже высоких кабинетах Москвы и Буэнос-Айреса между собой договорятся. Когда час вышел, он сказал своим людям, что они уходят. Капитан и советник попрощались вполне дружески. Оба не хотели крови, оба были люди зависимые и знали, что, если сегодня кто-то из них проиграл, это не его вина.

Сама история была закончена, но к ней полагался эпилог. Советник и капитан как люди чиновные уважали этикет, знали, что процедуры и правила должны быть соблюдены. Человека ведут страсти, он безумен, сплошь и рядом творит бог знает что, а этикет, наоборот, спокоен и рассудителен. В нем есть выдержка, которую оба уважали. Оттого уже в дверях советник заявил, что они вынуждены подчиниться грубой физической силе. Сказал, что вне всяких сомнений российское Министерство иностранных дел заявит аргентинской стороне самый решительный протест и будет ждать удовлетворения своих законных требований.

Конечно, у капитана не было подобной выучки, но и он оказался на высоте. Объявил советнику, что протест российской стороны будет незамедлительно передан его полицейскому начальству, а дальше, по обычным каналам – в Министерство иностранных дел Республики Аргентина.

Покончив с этим противостоянием, “Эсквайр” переходит к сути, то есть к тому, что? аргентинская полиция нашла в квартире покойной Кристины Санчес. Улов был оглушительный. Он был так велик, что с ним и сейчас не знают, что делать. По-прежнему в частных разговорах многие высшие чины Аргентины не скрывают, что если бы квартира Санчес на пару дней осталась за Россией, обе стороны были бы в выигрыше. Но всё сложилось, как сложилось, и теперь, если кратко, ситуация выглядит следующим образом.

Те тысячи и тысячи счетов, писем, контрактов и донесений, что были найдены в квартире Кристины Санчес, не оставляли сомнений, что Евгений Романов почти двенадцать лет был нашим главным разведчиком в Латинской Америке. О каждой встрече на вилле “Элизиум”, обо всех переговорах его гостей он собственноручно писал отчеты, которые через Кристину Санчес немедленно переправлялись в Москву.

Более того, идеи и предложения, которые Романов как посредник делал во время этих переговоров (“Эсквайр” раньше уже писал, что обычно они принимались), с начала и до конца сочинялись в Москве. Тот же расклад и с нехорошими историями, из коих Евгений Романов так ловко вызволял своих знатных друзей. Проблемы решала Лубянка или ее напарники из Гаваны. В общем, что бы ни происходило к югу от американских Соединенных Штатов, везде кукловодом была Москва, и кукловодом мастерским.

Разбирающиеся в подобного рода вещах теперь или аплодировали, или со злости грызли ногти. Но завистников больше, и скандал вышел немереный. Он был бы просто вселенским, но, к счастью для Москвы, большинство лиц, поминавшихся в бумагах Санчес, были или в могиле, или давно не у дел.

Что же касается самой Кристины, она тоже была нашей разведчицей. Как и Романов, родилась в России, он – где-то под Магаданом, она – в Курске. Прежде чем попасть в Аргентину (ее отец в годовалом возрасте был вывезен из окруженного франкистами Мадрида в Россию), Санчесы эмигрировали в США, где Кристина окончила в высшей степени престижную юридическую школу при Гарвардском университете. В Буэнос-Айресе она вела дела нашей резидентуры. Романов взял на себя дипломатическую часть, а Санчес ведала юриспруденцией и бизнесом. Последний рос как на дрожжах, так что при Романове латиноамериканская резидентура не брала у Москвы ни копейки, наоборот, перечисляла миллионные суммы в Нью-Йорк и Европу.

Кристина не просто была любовницей Романова, она его страстно любила, и еще когда несчастного князя погребла под собой лавина, от горя едва не покончила с собой. К счастью, через неделю Лубянка, а с ней и сам Романов ее успокоили. Оказалось, что за день до лавины в “Элизиум” из Москвы инкогнито были переправлены два подрывника. Они пробурили в леднике несколько десятков шурфов, под завязку набили их динамитными шашками и, запалив бикфордовы шнуры, спустили вниз накопившиеся за зиму миллионы тонн мокрого снега.

Пока он, грохоча, как курьерский поезд, сносил всё на своем пути, Евгений Романов стоял чуть выше ледника на скалистой площадке и спокойно наблюдал за этой репетицией апокалипсиса. Вскоре рядом приземлился вертолет и, взяв его на борт, через минуту взлетел. Спустя три часа, не спеша обогнув несколько высоких горных пиков, вертолет перевалил главный хребет Анд и уже недалеко от чилийской столицы Сантьяго приземлился на небольшом частном аэродроме. В Сантьяго Романов пробыл три дня, а дальше “Аэрофлот” через Гавану

благополучно переправил его в Москву. Он прибыл в Шереметьево 15 октября 1990 года.

Как выяснил “Эсквайр”, на родине Романова встретили без лишнего шума, но вполне ласково. Будто из мешка Деда Мороза вручили ему все причитавшиеся за два десятка лет беспорочной службы чины, звания и награды, прибавили к ним сберегательную книжку “на предъявителя”, где лежало жалованье за те же двадцать лет, а также три аккуратных конвертика, каждый с ключом. Первый – от трехкомнатной квартиры в высотке на Котельнической набережной, второй – от машины “Волга” с форсированным двигателем, и третий – компенсация за “Элизиум” – от очень неплохой дачи прямо на берегу Пестовского водохранилища. После чего с почетом проводили на пенсию. В Советском Союзе, потом в России Романов прожил еще двадцать пять лет, по большей части как раз на даче, которую очень полюбил. Скончался он в нынешнем, 2015 году в Кремлевской больнице. Его убил тяжелейший сердечный приступ.

Технически эвакуация Романова из Аргентины была проведена безукоризненно, но сама по себе она была полным бредом. На Лубянке куратором нашего героя был некий Крестовский – отъявленный трус. На своем подчиненном он выслужил генерал-лейтенанта и, когда депутация европейских Романовых – трое восьмидесятилетних старичков, из которых песок сыпался, – собралась было в Аргентину, отчаянно перепугался. Стал убеждать руководство внешней разведки, что эта незваная “родня” раскроет всю советскую разведсеть в Аргентине. Короче, если Романова немедленно не вернуть на родину, провалов будет столько, что никому мало не покажется. Поколебавшись, с ним согласились.

После того как Романов оказался в Москве, руководство резидентурой перешло к Кристине Санчес. При ней не было никаких серьезных сбоев, никто не провалился и никто не перебежал на другую сторону; тем не менее сеть хирела на глазах. Кристина была устроена по-другому, перенять то, что с таким изяществом делал Романов, она не сумела. Всё же ни шатко ни валко (в смысле экспортно-импортных операций очень успешно) работа шла, пока Лубянка не сообщила в Буэнос-Айрес, что Романов скоропостижно скончался в Кремлевской больнице. Узнав, что своего возлюбленного она уже никогда не увидит, Кристина наложила на себя руки.

Я не без любопытства прочитал эту статью, но подробно ее здесь излагаю по другой причине. Дело в том, что спустя два месяца после того, как распечатка “Эсквайра” попала мне в руки, – днем раньше мы всем семейством вернулись из-под Ростова и мои сразу отбыли на дачу, – позвонили в дверь.

Я открыл. Вошли четверо и, показав соответствующие книжечки, представились сотрудниками органов государственной безопасности. Судя по документам, все были офицерами – от лейтенанта до полковника. Тут же, в коридоре, они предъявили мне ордер на обыск. Дальше мы проследовали в гостиную, где один – тот, что полковник – остался со мной. Он в кресле, я на диване, мы девять часов кряду вели ничего не значащие разговоры о погоде, об археологических партиях на юге России, с которыми я с семьей каждый год ездил в поле.

Он поддерживал беседу как был выучен на службе, а я из последних сил цеплялся за обычную жизнь, которая сохла, скукоживалась на глазах. Потому что три других офицера всё это время медленно, и вправду чуть не с лупой, обыскивали комнату за комнатой. В том числе и гостиную, где сидели мы с полковником. Сначала письменные столы, потом книжные и платяные шкафы, сервант, горку, за ними пришел черед антресолей; мы их лет десять назад забили под завязку и с тех пор туда не заглядывали. Покончив с антресолями, они принялись простукивать стены, пол, особенно тщательно – подоконники.

В конце концов, к семи часам вечера (мои, слава богу, еще были на даче) они, вывернув наизнанку, выпотрошив весь дом, принялись перетаскивать в комнату дочери то, что решили забрать с собой. Образовался целый Монблан рукописей и машинописных копий, сотни папок газетных и журнальных вырезок: статьи, рецензии – всё же я не один десяток лет проработал книжным редактором; довеском к рукописям стал дневник жены и мой собственный и наша переписка за тридцать лет. В общем, полный семейный архив. Я не раз бросал лозунг, что так дальше жить нельзя: бумаги вкупе с бумажной пылью нас съедят, – и вот, кажется, был услышан. Мои гости справились с задачей в один присест.

Отделив, на что положили глаз, они вызвали с Лубянки микроавтобус с двумя рядовыми в качестве грузчиков; пока те набивали большие брезентовые сумки, сели тут же, в гостиной, и, извинившись, мирно закурили. Впрочем, перекур был недолгим. Едва бычки оказались в пепельнице, полковник вынул из кожаного портфеля другой ордер – на сей раз на мой арест.

Я расписался и дальше без единого свидания восемь с лишним месяцев провел в одиночной камере внутренней тюрьмы на Лубянке. Меня не били, ни разу пальцем не тронули; хотя ночные допросы случались, в общем, давали спать. Кормили тоже нормально, и всё равно во мне был такой ужас, что я был готов взять на себя что угодно.

Следователь, который вел дело, по-видимому, считал, что лучший способ расколоть арестованного – это его сломать, и здесь первый помощник – полная неизвестность. Он даже не говорил, в чем меня обвиняют, только требовал, чтобы я признался. Единственное, что от меня не скрыли, это что я агент американской разведки, “крот”, который создал внутри наших органов безопасности глубоко законспирированный шпионский центр.

Уже на втором допросе он, ликуя, стал объяснять, как они расправляются с подобными гадами – живьем сжигают их в печи. Печь тут же, рядом, в подвале здания, где меня сейчас допрашивают. Не поручусь, что он был заурядным садистом, но живописал, как изменника кладут живым в гроб, как по смазанным маслом полозьям не спеша вталкивают в печь, где “крот” и сгорает, – очень художественно.

Может, из-за его рассказов, а скорее, просто от безнадежности не прошло месяца, как я был согласен сознаться в любом преступлении, только бы следователь и вправду спас от печи. Тем более что он дал понять, что они не звери, раскаявшихся преступников не убивают, дают им пожизненное заключение и отправляют в тюрьму, которая находится на острове, посередине Белого озера, и которую они между собой зовут “Белым лебедем”. “Белый лебедь” даже звучало мелодичнее, немудрено, что я радовался как дитя.

Вообще я был готов к самому тесному, самому искреннему сотрудничеству, но тут следователь вдруг сменил песню, стал говорить, чтобы я зря губу не раскатывал, каторжная тюрьма – не сахар. Печь – и минуты не пройдет, уже отмучился, а кто чалится в “Белом лебеде”, только и мечтают, как наложить на себя руки. Пожизненно сидеть тяжело, такого врагу не пожелаешь, но охрана на Белом озере бдительная, свести счеты с жизнью мало кому удается. В общем, развилка была та еще – привычная нам борьба хорошего с еще лучшим.

Я не знал за собой вины, мне и в голову не приходило, что арест связан с несчастной статьей из “Эсквайра”, и от всего этого – от того, что не мог понять, чего от меня хотят, каких показаний и на кого, от бесконечных допросов и

одиночного заключения, печей и “Белого лебедя”, – впал в полную апатию. Я был в совершенной прострации и даже не заметил, что меня перестали вызывать на допросы, а когда недели через две следствие возобновилось, увидел, что дело передали другому чекисту.

Очевидно, за полгода на Лубянке успели разобраться в изъятых у меня бумагах, соответственно, новый следователь вел допросы иначе. Спрашивал конкретные вещи и про конкретных людей, главное, людей, которых я и в самом деле хорошо знал, был с ними связан долгие годы. С точки зрения морали всё тоже было щадяще: те, кто интересовал Лубянку по моему делу, в большинстве своем были в могиле, так сказать, выбыли из земной юрисдикции, навредить им я уже не мог.

Чтобы дело шло более споро, я не отвлекался на вещи, которые им и без того известны, второй следователь за сотни часов допросов и сам нарассказал немало всего. Многое мне, конечно, и в голову не приходило. В общем, без моего тогдашнего сидения на Лубянке, без, можно сказать, добровольной помощи наших спецслужб достроить до целого то, что пойдет дальше, я бы вряд ли сумел.

Последние два месяца, что я провел во внутренней тюрьме, прошли для вашего покорного слуги довольно спокойно. Я даже не удивился, хотя, конечно, очень-очень обрадовался, когда, вызвав меня на очередной допрос, следователь попросил прочитать и подписать какую-то бумагу – я думал, вчерашний протокол, а оказалось, постановление суда о прекращении моего дела.

Оно, объявил следователь не без торжества, закрыто за отсутствием состава преступления, и уже через час, уладив формальности, они на своей машине отвезут меня домой. В течение месяца будет возвращено и изъятое при обыске. Следователь не скрывал: рад, что эта история так благополучно закончилась, поздравлял меня – мы даже обнялись на прощание.

* * *

Забегая вперед, скажу, что, в сущности, перед нами история Электры. Конечно, случается, что по обстоятельствам времени действующие лица отклоняются от оригинала, бывает, и выламываются из роли, но тут ничего не поделаешь. Некоторые вещи не в нашей власти. Не меньшая роль, чем у Электры, у царя

Агамемнона, у него самого и у его царства, то бишь наследства, которое, придет срок, Электра переймет и распорядится им по собственному усмотрению. Впрочем, я уверен, что это ее “усмотрение” Агамемнон бы одобрил, полностью поддержал.

В повествовании микенский царь выступает под фамилией Жестовский. Николай Осипович Жестовский. Соответственно наша Электра – его дочь Галина Николаевна Жестовская-Телегина. Еще надо сказать, что судьба не раз и не два сталкивала меня с обоими. Но только недавно одно и другое стало сопрягаться, проступили общие контуры постройки. Казавшееся приблудным, взятым из другой оперы, шаг за шагом нашло свое место. Однако сама возможность подвести стены под крышу была простым везением.

В 2012 году в искусствоведческом журнале “Золотое сечение” я опубликовал эссе, которое называлось “Бал у сатаны: его этика и эстетика”. Оно было замечено. Во всяком случае, примерно через месяц меня позвали работать в маленькое и вполне рафинированное издательство, которым владел некий Павел Кожняк. Им нужен был редактор для трехтомника Николая Жестовского, о котором к тому времени – так получилось – я был уже наслышан. С этим эссе я и связал свое приглашение. Повторю здесь его текст целиком, потому что иначе некоторые вещи останутся темными.

Бал у сатаны: его этика и эстетика

Подобно другим сравнительно консервативным людям, я убежден, что эстетика и этика – одного поля ягоды, оттого с трудом представляю себе красоту без добра, милосердия и справедливости. У М. Булгакова в “Мастере и Маргарите” – как и прочее, безукоризненно – написан бал у сатаны. Насколько я помню, в комментариях отмечается, что прообразом его стало празднование Нового года в Московской резиденции американского посла – Спасо-Хаусе.

Должность посла тогда исполнял Уильям Буллит, старый приятель президента Рузвельта, человек богатый, независимый и по своему отношению к жизни вполне богемный. Такое в те годы бывало сплошь и рядом. Дипмиссии редко возглавляли кадровые дипломаты, куда чаще посольством правили друзья президента и главные жертвователи на его предвыборную кампанию. Впрочем, последнее никому не в укор.

В свое время я не один раз пытался написать понимание мира всякого рода сектантскими учителями и пророками, считал, что иначе не разобраться в том, что происходило в России в XX веке. Подобно пророкам древности, они учили из уст в уста, и, если, по Булгакову, рукописи не горят, то слово без бумаги оказалось более непрочным. В тюрьмах и лагерях канули и те, кто учил, и их последователи. Не осталось ничего, только отсвет, только странное ощущение, что за новым и единственно верным учением Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина, за взявшейся невесть откуда и тут же одержавшей решительную викторию партией большевиков скрывается всеми давно и столь безнадежно ожидаемая финальная схватка сил добра и сил зла, Христа и антихриста.

Антихрист – вот он уже, но главное, как было предсказано, мы обманулись, приняли его за Спасителя, и, значит, сама Земля обетованная, наша земля со всем, что в ней было и есть, отдавшись сатане, сделалась нечистым царством. И всё же нас не оставляет надежда, что конечная победа останется за Христом и супостата на веки вечные низвергнут обратно в адскую бездну. Тогда и наступит, придет время пресветлого райского царства, будет построен научный коммунизм.

Я писал такое понимание мира, будучи убежден, что оно непоправимо утрачено, сгинуло без остатка, писал наугад, неуверенный ни в словах, ни в том порядке, в каком они должны следовать друг за другом, оттого меня и поразило, когда в обществе “Мемориал”, куда с середины осени прошлого, одиннадцатого года я хожу как на работу, почти каждый день, мой хороший знакомый, Борис Виленкин дал прочитать воспоминания Александра Евгеньевича Перепеченых “Трагически ужасная история XX века. Второе пришествие Христа”: записанные и с крайним тактом, я бы сказал, целомудрием отредактированные (везде слышен живой голос автора) Шурой Буртиным и Сергеем Быковским. Опубликовало их издательство “НЛО”.

А. Е. Перепеченых отсидел десять лет при Сталине, причем по большей части на Колыме, но и там месяцами не вылезал из БУРа – бараков усиленного режима, с их неимоверным холодом и убийственно малой пайкой за то, что отказывался работать в дни, на которые падали двунадесятые праздники. Сидел Перепеченых и дальше, при Хрущеве и Брежневе, только тогда религиозные статьи были спрятаны за невинным тунеядством, и он, хотя всю жизнь работал с восхода до заката, строил дома для людей и коров, то есть в тогдашнем просторечии шабашил, и был в окрестных хозяйствах – как человек в высшей степени добросовестный, умелый – нарасхват, всё равно получал срок за сроком.

Община, в которую входил Перепеченых, была частью течения истинно-православных христиан и числила себя последователями Федора Рыбалко (по его имени они и звались федоровцами), родившегося в селе Прогорелово Петропавловского района Воронежской области. Вышеназванный Федор Рыбалко был солдатом на Первой мировой войне и на ней убит. Но потом – дело было уже после революции – в него воплотился Спаситель, Федор Рыбалко воскрес и стал ходить по селам и деревням, уча народ истинной вере.

Федоровцы прошли через самые страшные лагеря, и те, кто выжил, окончательно освободились только в конце шестидесятых годов. Мир, в котором им довелось жить, они считали за царство антихриста, хотя сами про себя говорили, что после Второго пришествия Христа на землю живут в постоянной радости, как пишет Шура Буртин, так сказать, Вечной Пасхи.

Советскую власть, всё устройство законов и правил, по которым она жила, они понимали исключительно как власть антихриста, считали, что любые документы – паспорта, профсоюзные книжки, как и пенсии, подписки на займы – договора с сатаной, согласие на то, чтобы он тобой управлял. Грех даже водить детей в школу, не говоря уж о службе в армии – и то и то признание власти антихриста, участие и соучастие в его делах. По свидетельству Соловецкого сидельца Олега Волкова, истинно-православные христиане в лагере, как правило, отказывались называть и свое имя – отвечали: “Бог знает”.

Книга А. Е. Перепеченых, кроме прочего, мартиролог по другим федоровцам, по большей части лежавшим в земле, где-то далеко в Сибири, на кладбищах, где не было ни гробов, ни настоящих могил, в лучшем случае – сбитый из двух плашек крест, но главное, она о торжествующем сатане, о его вечном и нескончаемом бале.

И вот я подумал, что литература по своей природе – сказка, жизнь в ней такая, чтобы ее можно было выдержать и не сойти с ума. Оттого у Михаила Булгакова сатана зовет к себе на бал каких-то дантовских или позднеготических персонажей, убийц собственных детей и отравительниц чужих мужей, женихов, продающих невест в публичные дома. На одну ночь он извлекает их из ада, будто дает свиданку с волей, а потом отправляет обратно в бездну, на вечные муки.

Конечно, и с подобным балом Булгаков бо?льшую часть жизни ходил по самому краю, и если сумел дописать роман, на свое и наше счастье, и сумел умереть в

собственной постели, то лишь благодаря редкому везению. Но если бы сейчас мне при совсем других обстоятельствах довелось ставить бал у сатаны, я бы обошел стороной резиденцию американского посла, тем более что она называется Спасо-хаусом – почти Домом спасения; сказал бы себе, что и для антихриста дипломатический иммунитет есть дипломатический иммунитет, нарушать его без серьезных причин он не решится, значит, то, что происходит за высокими посольскими стенами, пусть, как и раньше, останется изъято из общего порядка вещей, бал же у сатаны сделал бы, основываясь, с одной стороны, на “Воспоминаниях” А. Е. Перепеченых, а с другой – на очень любимых народом новогодних праздничных концертах разных ведомств, испокон века охраняющих наш сон и покой. Ритмику, как привычно, задал бы популярными патриотическими и лирическими песнями, а между шли бы вставные номера. Нет сомнения, что их бы легко набралось на бал, который длится не одну-единственную ночь, а много лет, даже десятилетий, но пока, для затравки, ограничимся двумя.

Первая сцена восходит к запискам – частью опубликованным – Ю. П. Якименко, в свое время профессионального вора, потом, еще в лагере ушедшего, как он сам пишет, к “умным мужикам”. Называются они “По тюрьмам и лагерям” и хранятся в архиве общества “Мемориал”. Вторая – к рукописи чекиста, потом начальника милиции города Иваново, позже тоже сидельца, М. П. Шрейдера. Ее заголовок “Воспоминания бывшего чекиста-оперативника”. В свою очередь, и они частью опубликованы, а оригинал находится также в архиве “Мемориала”.

Первая сцена. Воровской этап в Северные лагеря. Не доезжая Вологды, состав отгоняют на запасные пути и там оставляют. Осень, пожухлая болотистая низина, уже битая ночными заморозками, вдалеке лес. Напротив одного из вагонов, сразу за канавой – цыганский табор.

Этих бедолаг тоже куда-то перегоняют. Повозок не видно, только пара хилых изможденных лошадей выковыривают из земли остатки травы, да где чуть выше и, значит, суше, вокруг костра сидят несколько пожилых цыган. Не знаю, что находит на воров, но они через оконную решетку начинают просить их сплясать, потешить, развеселить душу. Распаляясь всё больше, уговаривают цыган и уговаривают, но тем не до танцев: мрачные, угрюмые, они и не смотрят на зэков.

Настроение воров – штука переменчивая, они в последний раз кричат старикам: “Чавэла, чавэла, где ваша цыганская кровь? – и тут же: – Раз вам западло танцевать перед нами, мы сами вам спляшем. Слушайте ромы, слушайте!” Двое

воров в этом вагоне отличные чечеточники, они даже на этап попали в штиблетах с правильными набойками. Пол телячьего вагона, конечно, нечист, но, отшлифованный бессчетными зэчьими ногами, всё равно зво?нок, как сцена.

Конвоиры молчат и не вмешиваются, им тоже хочется праздника. Пока, красуясь, выделываясь друг перед другом, пляшут только двое, остальные – кто подпевает, кто отбивает ладонями ритм. Но скоро просто сидеть и остальным делается невмоготу. Всех захватывает бешеная пляска.

Естественно, откаблучивать, как чечеточники, никто не умеет, каждый пляшет как может. Кто лезгинку, кто гопак, кто “камаринского” или просто вприсядку. В “барыне”, плавно покачивая бедрами, но огибая, никого из танцующих не касаясь, проходит павой недавно запетушенная малолетка. Вслед их вагону подключается соседний, и скоро весь состав вибрирует так, будто машинист разогнал его до какой-то безумной скорости и теперь его раскачивает и на стыках кидает из стороны в сторону.

Надсадность, исступленность этой пляски, ее шик, ее экстаз, кажется, пронял и цыган, потому что, когда воры, прервавшись, снова обращаются к ним: “Чавэла, чавэла”, – по знаку старого цыгана поднимаются несколько молодых ром. Поначалу, вяло прихлопывая по сапогам, они тянут свои “нэ-нэ-нэ”, но скоро к ним присоединяются молодки в цветастых юбках, а затем в круг входит старая цыганка, до пупа увешанная монистами и браслетами. Конечно, плясать на мягкой, переполненной водой земле не то же самое, что на ресторанном паркете, но она с такой страстью трясет вываливающимися из кофты большими, тяжелыми грудями, что заводит весь табор.

Теперь уже воры хлопают, подпевают не себе, а цыганам. Якименко пишет, что это не расскажешь и не опишешь: просто посреди беды, из которой мало кому удастся вырваться, посреди осени, холода и быстро сгущающихся сумерек вдруг сделался праздник, и люди забыли и про то, что им уже выпало на долю, и про то, что еще предстояло пережить. Забыли, что их ждет Крайний Север, бесконечная работа, голод, пеллагра и смерть.

И, когда эшелон снова тронулся, медленно, не спеша переходя со стрелки на стрелку, начал набирать скорость, цыгане, провожая воров, еще долго махали им руками. А в ответ сотни зэчьих рук, расталкивая друг друга, тянулись к окошку, чтобы поблагодарить цыган за нежданную радость. И эта радость, заключает Якименко, “осталась с нами, никуда не уходила до Печорской

пересылки”.

Вторая сцена. У гэпэушников к каждому был свой подход. Конечно, некоторые приемы, например при отборе валюты и золота, считались общеупотребимыми, почти обязательными, в частности, присутствие в зале, куда со всего города повестками сгонялись нэпманы, двух-трех “подсадных уток” (обычно из прежде раскулаченных маклеров черного рынка).

“Засланные казачки” в нужный момент и по соответствующему знаку первые начинали во всем признаваться и каяться. Но в прочих отношениях уважалась специфика. В частности, вышеупомянутый Шрейдер, чье отличие от других чекистов только в том, что он оставил подробные и весьма интересные воспоминания, сам обо всем рассказал, больше другого гордился тем, как работал с соплеменниками, даже отметил, что его именем родители пугали детей.

Один подход был к фабрикантам, другой к торговцам. Между фабрикантами различали тех, кто сделал себе имя до революции, и новых людей, что называется, выдвиженцев НЭПа. Среди торговцев в отдельный подвид выделяли владельцев магазинов тканей и тех, кто специализировался на колониальных товарах. Вместе собрали врачей, в первую очередь зубных – эти в любом случае имели дело с золотом, – гомеопатов и врачей общей практики.

Думаю, смысл был в том, что те, кто сидел рядом, знали друг друга и знали, что, в общем, все они одинаково смотрят на советский режим. И вот, когда в такой гомогенной среде кто-то публично, нередко со слезами и криками, начинал “колоться”, удар выдерживали немногие. За подсадными утками открыть душу родной власти, снять с себя грех устремлялись и остальные.

Но вернемся к Шрейдеру, который, как представляется, настолько успешно работал, что одна из его операций тоже достойна бала у сатаны. Нэпманы из евреев собраны в клубе работников НКВД. На фронтоне видная издалека надпись: “Добро пожаловать”. Все приглашены с женами (обычная практика): женщины доверчивее, главное же, они истеричнее и податливее, что чекистам известно. Как было указано в повестке – с женами, – так и явились; не ослушался, кажется, никто.

Начинает Шрейдер вполне благожелательно с чего-то вроде политбеседы. Объясняет нэпманам, что они должны быть благодарны советской власти, при ней и речи нет о погромах, во время которых тысячи евреев были убиты, многие тысячи их жен и дочерей изнасилованы. Уничтожила революция и черту оседлости, значит, ждать возвращения прежнего режима у них резона нет. Наоборот, не жалея ничего, они должны помогать новому строю. Страна сейчас отчаянно нуждается в индустриализации. Необходимы золото и валюта, чтобы закупать оборудование, станки, целые заводы.

Пока, так сказать, типично и не слишком любопытно, но есть и изюминка. Зал клуба радиофицирован, что по тем временам редкость, и вот за стеной перед микрофоном – чекист еще не закончил доклад о текущем моменте – хороший скрипач, тоже приглашенный гэпэушной повесткой, со всем мыслимым старанием и чувством начинает играть “Кол нидрэ”, “Плач Израиля”, другие похоронные молитвы и траурные песнопения.

Чекист и скрипка мастерски разыгрывают партию двух следователей – доброго и злого. Чекист добрый. И вправду, времена, если речь о нэпманах, еще вполне вегетарианские, их редко расстреливают, сплошь и рядом даже не сажают. Если они соглашаются на добровольную сдачу валюты и золота, их по официальному курсу обменивают на облигации государственного займа, которые везде принимают наравне с обычными деньгами.

Чекист и склоняет их отдать валюту и спокойно идти по домам. Только если они будут упорствовать, выкажут себя врагами советской власти, революция и расправится с ними как с врагами. В общем, чекист не хочет им зла; другое дело скрипка. Скрипка безжалостна, она не знает ни милости, ни снисхождения, для скрипки им уже нет места на земле, она приговорила их и теперь хоронит заживо.

Уже при первых ее звуках всё стихает. Потом начинается что-то странное. Временное задержание – почти арест; тревога, страх за будущее, за детей усугубляют напряжение, и скоро в зале делаются слышны всхлипывания. То тут, то там раздаются истеричные возгласы и нечленораздельные выкрики, рыдания. Не прошло и получаса, как плач делается почти всеобщим.

Похоже, женщины в том же состоянии, в каком были в американском городе Салеме во время известных процессов ведьм. Вцепившись в руки мужей побелевшими от напряжения пальцами, они все пытаются заглянуть им в глаза,

увидеть, найти в них, что те согласны отдать, лишь бы прекратить эти нескончаемые скорбные рыдания скрипки. Скрипки, прощающейся с ними всеми и с каждым из них отдельно, скрипки, которой – это уже ясно – хватит сил каждого из них отпеть, похоронить и помянуть. И вот, когда Шрейдер видит, что сопротивление сломлено, что нэпманы отдадут последнее, только бы скрипка замолчала, он, будто завершая аккорд, дает знак подсадным уткам, и те, крича на весь зал, что советская власть права, бегут к сцене, где на столике уже лежит аккуратная стопка типовых договоров обмена валюты на облигации государственного займа. Будто боясь опоздать, следом за стукачами бросаются остальные.

Правда, позже я стал думать, что суть не в эссе. Просто так легла карта. Ведь никто не мог знать, что в студенческие годы, то есть лет тридцать назад, я под чужой фамилией написал для издательства “Наука” внутреннюю рецензию на рукопись вышеупомянутого Жестовского. Книгу пыталась напечатать его дочь.

Рецензия была сугубо положительная, вдобавок подписана известной фамилией, но ни одно, ни другое не помогло. Лишь постепенно мне делалось ясно, как мало в этой истории случайного и как тщательно мой издатель подбирал кандидата. Впрочем, результат налицо: я набрал хорошие баллы, опередил конкурентов.

Прежде чем идти дальше, скажу о себе. После армии пошел вразнос. Поначалу хипповал, потом кочевал по России, искал, где лучше травка. Набрел на хорошее место за Чуйским трактом и чуть не остался на Алтае. Позже перешел на серьезную дурь. Варил ее мой приятель, химик из Губкинского института. Его давно нет на свете, а я вот соскочил. Мать сказала, что удавится, если не завяжу, и так вышло, что я поверил.

Слез, конечно, не в одночасье. Уезжал, мотался по экспедициям, с геологами семь месяцев ходил по горам в Восточной Сибири, потом еще на девять завербовался зимовать на Новую Землю. Но и там и там работы было немного, а мне с собой один на один всегда было трудно. В итоге отстал от геологов, начал шабашить. Предпочитал земляные работы. С глиной или песком к темноте ухайдакаешься – не разогнуться. Это и поставило на ноги. Кровь очистилась, теперь я мог жить даже без сигарет.

Девушки, ясное дело, тоже поменялись. Тех, с кем кололся, за километр обходил. И всё равно было непросто. Я сделался робок: встаешь утром – а в тебе страх, что сорвешься. Мать, конечно, этот мой ужас чуяла, но чем помочь, не знала. Подсказала барышня, с которой встречался. Ей нравилось меня обижать, как-то она сказала: “Ты у нас, Глебушка, человек зависимый, без опиума тебе трудно, а раз так, пусть лучше будет тот, что для народа. Мать этим в гроб точно не вгонишь. И моих родителей устроит”.

Я послушался: стал ходить в церковь. В соседнем переулке – Левшинском – был храм с сильным, знающим священником, отцом Игнатием Сбаричем. У него и крестился. Подобно всем неофитам, был ревностным прихожанином; он меня приметил, как мог стал приваживать к дому. Слева от паперти, у стены, стоял совсем игрушечный особнячок, до революции его занимал псаломщик. Теперь домик отдали отцу Игнатию с семейством.

Каждый день после вечерни матушка ставила самовар и мы чаевничали: говорили о Писании, о разных вопросах литургики, о сегодняшней проповеди. Хорошие, умные разговоры, и скоро храм и эти чаепития стали мне необходимы. Во главе стола обычно сидел сам отец Игнатий; народ собирался разный, но он правил нами всё равно как Ной своим ковчегом.

Через год отец Игнатий попросил помочь с корреспонденцией, дальше я один в двух лицах стал его секретарем и библиотекарем. Он был страстный библиофил, у меня же с давних пор среди букинистов сохранились добрые знакомые; попадалось немало интересного, и всё я, как бурундук, тащил к нему.

Со школьных лет я мечтал о психфаке МГУ, хотел заниматься психологией творчества. Понимал, что Выготского живьем не услышу, но считал, что, если мы что-то и понимаем в психологии, – это его заслуга. Для МГУ нужен был стаж, и единственное, что отец Игнатий для меня подыскал, – место санитара, тут же массовика-затейника в Лихоборском доме престарелых. Я пошел.

В принципе для будущего психолога там было немало интересного. Все наши насельники или изготовились, или уже перешли свой Рубикон – грань между рассудком и бредом. Для их родных этот рубеж был даже важнее другого – между жизнью и смертью, – но сами старики его не замечали, оттого, наверное, и шли исповедоваться, будто я был священником, а дом для престарелых – храмом.

Впрочем, я никого не поощрял. Во время дежурств много разговаривал только с одной бабулькой, которую сюда устроил тоже отец Игнатий. Он же и попросил меня за ней присмотреть. Тихая, кроткая старушка в сером шерстяном платке, повязанном поверх ватных брюк, в таком же сером платке на плечах и с третьим серым платком на голове.

Знал ли я ее раньше? Можно сказать – и да, и нет. Я довольно часто видел эту старушку в храме, где она стояла за свечным ящиком. Слышал, что по нескольку раз в год, причем, как правило, надолго, она уезжает к очень чтимому нашим батюшкой старцу Никифору. Куда-то то ли в Тверскую, то ли в Новгородскую область, где у старца скит. Обратно она привозит ответы на вероучительные вопросы – для отца Игнатия, и на все другие, кто бы из наших прихожан о чем ни спросил.

Говорили на приходе и что, с тех пор как старец затворился в скиту на болотах, отец Игнатий на эти самые вероучительные вопросы стал смотреть его глазами и сразу приметно помягчал, но в величии потерял. Раньше мощный статный проповедник, этакий Авраам с посохом, а за ним мы – стадо овец Божьих, – тут он сгорбился, явно постарел и сдал. Но по всему было видно – чувствовал облегчение. Потому что прежде, наверное, сомневался: правильно ли нас ведет, – а теперь успокоился, твердо знал, что да, правильно.

Полученные с болот ответы старца отец Игнатий потом у себя дома зачитывал – каждому свое. На приходе их очень ценили, было известно, что старец никогда не ошибается.

Так продолжалось почти пятнадцать лет, и мы, левшинские прихожане, знали, что находимся под покровительством святого человека. Но потом старец Никифор умер там же, в своем скиту посреди болота, и эта старушка, смущая и отца Игнатия, и остальных, то и дело стала странно оговариваться. Годом прежде у нее был сильный инсульт, после которого она сразу и резко сдала. Теперь же, похоже, началась и старческая деменция. То так, то этак она стала давать понять, что письма, которые столько лет привозила нам с болот, писались не старцем и даже не с его слов ее рукой: все они с начала и до конца ее собственного сочинения. Дом для престарелых должен был успокоить приход, унять никому не нужные сплетни. С чем, надо признаться, он легко справился.

В Лихоборах я проработал три с лишним года. Как уже говорилось, имел полставки культорга (в этом качестве меня неплохо заменяли два телевизора) и

еще полставки ночного санитара. Здесь обязанностей было чуть больше: перед отбоем раздать нашим постояльцам положенные им таблетки (утром и днем раздавала медсестра) да в случае крайней необходимости вызвать “скорую помощь”.

За всё про всё я получал вполне терпимую по тем временам зарплату. Худо-бедно хватало и на жену с дочерью, и на себя. Кроме того, набегал стаж для поступления в МГУ. Прибавьте, что с обеда и до утра в моем распоряжении находилась ординаторская – довольно большая комната, где я мог заниматься своими делами. Именно в этой ординаторской, раза три-четыре в неделю, не реже, велись разговоры с той самой нашей насельницей, что стояла раньше за свечным ящиком. Мы с ней довольно быстро сдружились. Маленькая, хрупкая – непонятно, в чем душа держится, – вдобавок с диагнозом “старческое слабоумие”, она оказалась замечательной собеседницей.

Мы пили чай с черносмородиновым вареньем, которое она сама варила, – опустошали один чайник за другим – и она рассказывала свою жизнь: как ни посмотри, совершенно безумную. И знала, несомненно была этим довольна, что, как только уйдет к себе в комнату, я всё то время, что осталось от ночи, буду записывать в дневник наш сегодняшний разговор.

Кроме платков, которые помогали ей спасаться от холода (она всегда мерзла), кроме деменции – ею она отгораживалась от людей, которым по разным причинам не доверяла, – было еще одно, что выделяло ее среди прочих постояльцев. Через год она попросила (я, естественно, согласился) звать ее не по имени-отчеству – Галина Николаевна – а Электрой. Сама она это придумала или не сама, я тогда не знал. Но похоже, и ее жизнь, и жизнь ее родни впрямь строилась по греческим лекалам.

Был брат Орест, он же Зорик, родившийся в 1925 году, но он никакой серьезной роли ни в ее жизни, ни в жизни матери Галины Николаевны не сыграл – восемнадцати лет от роду погиб на Волховском фронте. Был ли у Зорика свой Пилад? Думаю, был, но речь о нем ни разу не зашла.

В общем, всё свелось к трем фигурам первого плана: сама Электра, ее мать Клитемнестра, женщина редкой красоты (чаще другого Электра звала мать “якуткой”, в ней и вправду текла кровь якутской княжны), и великий царь Агамемнон, ее супруг и отец Электры. Фигура второго плана – муж Электры чекист Сергей Телегин, действительно простой человек, правда, козьего сыра он

не делал.

Из того, что Электра рассказывала, было ясно, что наследницей своего отца, царя Агамемнона, она сделалась по закону, главное, по справедливости. Прежде, добиваясь царства, Электра без страха и упрека служила отцу. Больше того, если бы не она, наследство Агамемнона – его земли? и его сокровищ – было бы вполовину меньше, а то и совсем ничего не осталось. То есть она во всех смыслах была верной и преданной дочерью, позже стала хорошей женой своему мужу Телегину. Кстати, тоже с одной-единственной целью – спасти Агамемнона, которому иначе пришлось бы худо.

И вот теперь, на исходе жизни, она вдруг испугалась этого выморочного имущества. Перестала понимать: а стоило ли стараться, стоило ли не просто хотеть унаследовать отцовское царство, а не жалея сил расширять его на юг и на север, на запад и на восток? Потому что всё было замешано на большой крови, а раз так – получалось, что ты и кровь перенимаешь на себя. По Божеским и человеческим законам должна за нее отвечать.

И вот, чаевничая со мной, Электра хвасталась своим царством. Рассказывала, кто какие походы и куда совершал, когда и что завоевал. А с недавних пор всем владеет она: городами и плодородными землями, стадами – быки, козы, овцы, – а еще была сокровищница, до краев наполненная красивыми золотыми вещами и разными редкими камнями.

Сидя прямо передо мной, она в свои драгоценности закопает руки, наберет полные пригорошни, потом медленно, между пальцами ссыпает обратно. И ищет, ищет во мне глазами, что за это стоило не на жизнь, а на смерть сражаться с матерью, да и вообще с кем угодно стоило. И кровь стоило проливать, потому что, как ни крути, у всего есть цена. Но чем больше рассказывает, тем больше сомневается.

Однако отказаться от наследства она была не в силах и придумала другое. В стариках много хитрости, и я, когда понял, что пришло ей в голову, прямо рот открыл от восхищения. Так сложилась жизнь, что много лет спустя мне в руки попали документы, настоящий первоисточник того, что она рассказывала. Помню, что был поражен, настолько всё оказалось честно и точно, серьезных расхождений – копейки.

И вот она решила, что, раз многое она сама получила из вторых-третьих рук – кто-то, кого она, может, никогда в жизни не видела, это помнил, об этом думал, потом однажды, через несколько десятков лет рассказал другому, тот другой – ей, она в свою очередь мне, я расскажу еще кому-то, – в этих нескончаемых пересадках и перевалках неизбежно поменяется оптика, картинка утеряет резкость. В нашем случае кровь забуреет, и хоть не до конца застирается, замылится. В общем, может, звучит и грубо, но всю боль она и я – заболтаем.

Но вернемся к “Балу”. Итак, через месяц после его публикации мне позвонил некто Павел Кожняк и за хорошие деньги предложил взять на себя редактуру трехтомника Жестовского. Та рукопись, на которую я когда-то написал отзыв для “Науки”, называлась довольно скучно – “Сюжеты, их рифмы и рефрены”. Ни тогда, ни сейчас судьба книги от меня не зависела, вопрос, издавать ее или не издавать, был уже решен. “Наука” рукопись Жестовского не задумываясь бортанула, но нынешнему времени его “…Рифмы и рефрены” пришлись ко двору. Надо было готовить рукопись к публикации.

Было видно, что работа не будет легкой. Требуется и простая корректорская возня, и серьезная научная редактура. Дело не в ссылках и сносках: книга была слишком необычна, проверки требовала каждая строка тех странных диалогов, из которых она составилась. Разговор в ней всегда вели литературные персонажи – без сомнения, кровные родственники, но так разбросанные во времени, так друг от друга отделенные, что и не докричишься. От того тоска и тут же – интимность, правда, уж очень целомудренная.

Ты любишь, не стесняешься признаться, что любишь, однако всё попусту: тот, о ком только и думаешь, никогда ни о чем не узнает. От этой печки Жестовский и танцевал: “Мое сочинение прошу считать за признание в любви. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» объяснился Шекспиру, я, в свою очередь, самому Лескову, – писал он. – С сотворения мира одни и те же люди скитаются меж нас. Словно неприкаянные, уходят и снова возвращаются. Где я говорю «одни и те же» – это Мендель и генетика, дальше Ламарк с нашим Лысенко.

Суть, конечно, не в генетике – она началась зачатием и тем же зачатием кончилась – а во времени, которое всегда пресс, ты же, как ни крути – чистый лист бумаги, и оно отпечатывается на тебе, словно в типографии. Хороший, чистый эксперимент. Вы равны, будто однояйцевые близнецы, и, коли жизнь прошла, сходство же осталось буквальным, не сомневайся, вернулось то, о чем и

думать забыли”.

В книге Жестовского эти близнецы, словно зачарованные, ищут и ищут друг друга. То, встав на высокое место, высматривают один другого бог знает в каких далях. Назавтра, подобно учуявшим родной запах слепцам, ощупывают, шарят вокруг себя руками, но всё без толку.

Книга была датирована концом пятидесятых годов, и уже по тем временам многое в ней не выглядело новаторским.

Например, глава о гастролирующих по городам и весям “носах”, от предтечи гоголевского и дальше, чуть не до сегодняшнего дня; за ними у Жестовского шли главы с трикстерами и благородными жуликами. Впрочем, испугавшись монотонности, сразу вслед за жуликами он пустил навеянную Коместаром главу сравнительных жизнеописаний Ветхо- и Новозаветных персонажей. Ею и закончил первую часть рукописи. Вторая часть с главами об “Одиссее” и джойсовском “Улиссе”, “Дон Кихоте” и “Чевенгуре” вышла более удачной. Здесь встречались совершенно замечательные страницы.

Например, разговор Росинанта и Пролетарской Силы. Авторской волей оказавшись в соседних стойлах, они серьезно, вдумчиво рассуждают о жизни и о своих хозяевах. В разговоре много печали. Ни Чаша Грааля, ни Прекрасная Дама не застят им глаза, оттого они рано догадываются, чем всё кончится. Удался также кусок о Кириллове из “Бесов” и эрдмановском Семен Семеновиче Подсекальникове.

Как и в случае с Росинантом и Пролетарской Силой, это очень сочувственный, нежный, прощающий друг друга разговор о жизни, из которой оба собираются уйти. О том, что должно сделаться с миром, чтобы самоубийство перестало в нем быть смертным грехом. Конечно, перед нами не пение дуэтом и не игра в четыре руки, хотя оба, Кириллов и Подсекальников, соглашаются, что, если твоя чаша оказалась большей, чем может вынести человек, ты волен распоряжаться собой.

Но в другом важном вопросе единодушия нет. У Жестовского Кириллов настаивает, что, как бы ни сложились обстоятельства, никого сманивать за собой ты не вправе, в чем Подсекальников не убежден. Конечно, и до Жестовского книги подобного направления были, но, как правило, то был спор,

прямая полемика. Разговор обычно заводил младший, и от этого, от того, что очевидно для каждого, он шел вторым, третьим следом, вел себя неуверенно, как Смердяков – заискивающе. Секрет Полишинеля – всё пряталось под иронией, сарказмом, случалось – откровенным хамством.

У Жестовского другое. Его книга – разговор равных, и тут оказывается, что младший знает много того, о чем старший и помыслить не мог. Получается как в жизни: однажды что-то оборвалось, но теперь, когда связали обрезки, снова пошло вперед. Есть надежда, что пусть неровно, рывками, так будет длиться и дальше.

В общем, с начала и до конца всё в рукописи было построено на родственной приязни, уважении и благодарности. Добрая, умная книга, и мне жаль, что она и на этот раз не будет напечатана. Впрочем, три года дело было в подвешенном состоянии. Хозяин моего нового издательства, фамилия его, я уже говорил, Кожняк, происходил из знатной гэбэшной семьи, имел на Лубянке прочные связи.

Понимая, что публиковать рукопись без подробного очерка о Жестовском – кто таков, откуда родом – неумно, он послал меня в чекистский архив. Сказал, что на разведку, и добавил: что-нибудь любопытное для нас там обязательно найдется. Я был записан племянником давно покойного автора, его единственным наследником; и тут выяснилось, что хозяин прав, Жестовский – старый сиделец. К пятьдесят шестому году он успел отбыть четыре немаленьких срока.

Первый раз в Лубянском архиве я оказался 15 ноября. В читальном зале мне объяснили, как заказать нужные дела, и что придут они через три недели. Примерно через три. Что-то еще под грифом, но и где секретность снята, могут быть обстоятельства, по-прежнему не подлежащие разглашению. То, что не подлежит, заклеют, остальным я могу распоряжаться по своему усмотрению. И вправду, в начале декабря мне позвонили, что дела пришли.

Любезность не удивила. Что я блатной, в архиве хорошо знали. В “конторе” Кожняк считался жестким человеком, и в следующие полгода мне не раз задавался вопрос: каков он сейчас? Я отвечал благостно, тем более что во всех смыслах был на особом положении: никакой текучки, только научная редактура рукописи Жестовского, плюс для той же книги большой биографический очерк об авторе. В остальном волен как ветер. По обоим направлениям работа продвигалась неплохо, хотя, получив первые десять томов, я поначалу

растерялся. Потому что в читальном зале мне сказали, что всего их будет под две сотни, и было непонятно, что с этой горой делать. С чего начать и куда идти.

Я листал последнее дело, по которому проходил Жестовский, причем не обвиняемым, а свидетелем. Оно было открыто против капитана госбезопасности Сергея Телегина. Что о Жестовском, что о капитане Телегине я много слышал от Галины Николаевны, которая была дочерью первого и женой последнего.

Дело было начато 13 декабря 1953 года, но до суда не доведено. 27 апреля следующего, 1954 года следствие приостановили, а еще через пару месяцев окончательно закрыли. Как было указано в подшитой к делу сопроводительной бумаге, “в связи с утратой политической актуальности”. Но и прерванное, остановленное, так сказать, на полном скаку, оно оказалось весьма объемистым – 28 томов – и уже беглый просмотр показал, что в нем немало интересного и для моего работодателя, и для меня самого.

Вот и вышло, что я корпел над выписками из телегинского дела, потом сводил их между собой еще чуть ли не восемь месяцев, то есть больше, чем шло само следствие. Брал тома других дел, в паре мест – где откроется – читал с десяток страниц, примеривался. С одной стороны, всё требовало идти строго хронологически, от первого ареста. Так шла жизнь, и так Жестовский потом давал о ней показания. Кроме того, и следователи всякий раз возвращались к его предыдущим делам, смотрели на нынешнее как на рецидив.

Болезнь была запущена, стоило ослабить бдительность, она тут же давала “свечку”. Обе стороны преклонялись перед архитектурой. Расклад следующий. Жестовский, пусть и в полной тайне, кирпичик за кирпичиком строил здание контрреволюционного заговора – без сомнения, мощное и величественное. Со своей стороны, следователь с непреклонной решимостью выводил его на свет божий, делал видимым. Он знал, что, сколь бы ни совершенным было творение подследственного, дитя тьмы, оно под лучами солнца растает будто лед. Но кто одержит верх, делалось ясно далеко не сразу.

Оттого следователи и осторожничали, усыпляя бдительность, ходили вокруг да около. С невозможной дотошностью расспрашивали о никому не нужных людях, которых с полоборота и не вспомнишь. Где и кому, когда денег не осталось, Жестовский продал свое коверкотовое пальто? Какой-то даме на городском рынке. Хорошо, даме. Тогда как эта дама выглядела, во что была одета и долго ли торговалась? Торговалась долго. Он не хотел уступать, и в цене сошлись не

скоро.

То же самое с Вологдой, где уже на автобусной станции он за гроши отдал свой швейцарский хронометр. И всё со сбивающим с толку вниманием к деталям, будто из-за этой дамы или из-за этого хронометра его и арестовали. И вот Жестовский силился вспомнить, что дама ему говорила, как примеривалась, уходила и снова возвращалась, в итоге же втрое сбила цену.

Каждую ее реплику и каждую реплику Жестовского следователь Зуев тщательно записывал, сверял и проверял. Просил подписать, причем не по правилам, в конце протокола, а на каждой странице, что он, следователь Зуев, со слов подследственного записал верно. Нет ни искажений, ни пропусков. И так с каждой мелочью, будто в ней суть.

Тома следственных дел я и дальше читал не подряд, а как бог на душу положит. По некоторым делам допрашивалось до сотни человек, а что вопросы, что ответы – одни и те же. Канцелярщина убийственная. Живое слово – лишь по недосмотру. И всё же я многое выписывал, другое конспектировал, потому что знал, что каждый вторник после обеда Кожняк ждет меня у себя в кабинете. На свиданиях с начальством я витийствовал на манер Шахерезады и только к весне следующего года стал понимать, что ждут от меня другого.

В сущности, это было даже напрямую сказано. Кожняк однажды заметил, что прочитать и пересказать следственное дело – невелика хитрость, но он, Кожняк, подозревает, что в истории с Жестовским органы крупно прокололись. Лопухнулись на ровном месте, проморгали что-то очень и очень важное. По внешности дела велись правильно. Задавались верные вопросы, ответы сверялись, и если показания друг другу противоречили, следователь бил и бил в эту точку.

Колея была наезженной, накатанной, но здесь не сложилось. Оттого, когда решалось, оставить Жестовского свидетелем или допрашивать уже как обвиняемого, тот же майор Зуев, что расследовал телегинское дело, писал в рапорте своему начальнику, что в показаниях Жестовского несомненно что-то есть, но понять точно – что, он не может. Потому и не знает, что с Жестовским делать, боится с водой выплеснуть младенца.

Кожняк тоже не сомневался, что младенец был, и надеялся, что я его найду. Хотя бы скажу, через какую дыру стервец просочился. Как и куда ушел. А лучше, если его разыщу. Поначалу Кожняк не лез, просто слушал, наверное, верил, что вот-вот я сам возьму след. Но толку не было, и он решил мягко, по-отечески привадить, подвести. Долго расшаркивался, повторял, что очень на меня надеется, потому что я не их поля ягода, глаз не замылен. В органах потогонная система, конвейер. На каждое дело столько-то дней, не дай бог, если затянешь, выбьешься из графика.

То есть они гончие псы. Если кто бежит – догонят и горло перегрызут, а если стоишь в сторонке, глазеешь на ворон, то и не заметят, спокойно пройдут мимо. Иное дело я, человек медленный, академический, у меня и зрение другое. Во всем, что касается Жестовского, суть именно в этом. То есть он человек моего кроя и моей выделки, значит, кому как не мне его понять.

Кожняк был умен: то, что он говорит, практичная, грамотная инструкция, – это ясно было сразу, тем не менее прошел не один месяц, пока в делах Жестовского мне попалось нечто любопытное. Прежде – бесконечная мутотень, бездарная, косноязычная. Глубокая колея, из которой и захочешь – не выберешься. А тут, помню, что-то стало наклевываться – и я возликовал. Решил, что вот сейчас оправдаю доверие руководства.

В свой обычный вторник, сразу после летучки, неумно, пышно и с пафосом начинаю объяснять Кожняку, что, возможно, Жестовский был последним, кто видел в нас некую эклессию верующих, в которой у каждого своя роль. Как у Гоголя: кто-то пашет, кто-то воюет, кто-то Богу молится или нами управляет. Считал народ за сосуд, из которого ничего не вытекает, всё идет в ход, всё вызревает и набирает силу. Вот в этом, что всё во благо, и есть наше отличие от других, у остальных – только раздрай да ненависть.

Жестовский и Телегин были двоюродными братьями, то есть родней не только через Галину Николаевну. Телегин, как и Кожняк, чекист, к сорок пятому году комиссар госбезопасности третьего ранга. Уже после войны, в конце сорок шестого года, он был посажен под домашний арест. Телегину много чего инкриминировали, вплоть до измены родине в форме шпионажа и террора, но отделался он до неправдоподобия легко. Его просто разжаловали в капитаны и отправили начальником маленького лагеря под Магадан.

И вот в пятьдесят третьем году в Москве о Телегине вспомнили, решили к нему вернуться. Ведь ежу понятно, что здесь что-то не так. Непорядок, если террор и измена, а в итоге – детская проработка. Это даже не разгильдяйство – прямое пособничество. В общем, открыли дело по новой и решили начать с Жестовского.

Что именно с него – напрашивалось. Телегин с Жестовским повязаны чем только можно. И вот следователь, майор Зуев, не гений, но и не законченный “валенок”, принимается его разрабатывать. Конечно, самое простое – вытребовать из архива старые дела Жестовского и черпать оттуда полными пригоршнями, но хочется свежачка. Потому что табель о рангах никто не отменял, чего же расписываться, что сам, без старых кадров, ничего не можешь?

Зуев старается, не халтуря, будто тещин огород перекапывает те шесть лет, что Телегин начальствует над Магаданским лагерем – что добудет, просеивает мелким ситечком. Там, в Магадане, Телегин моет свое золото, а Зуев свое. Неделя за неделей наш Пинкертон ищет, как Жестовский с Телегиным между собой сообщались, но пока улов невелик.

Однако Зуев дотошен. Каждый контакт прозванивается, каждое звено проверяется под лупой. Поездные проводники Москва – Владивосток? Нет. Попутчики, не исключено, и случайные – опять нет. Тогда, может, через жен и детей? И тут промах. Жена Жестовского отбывает срок в лагере под Карагандой, в чем нетрудно убедиться.

Протокол допроса, словно книга Жестовского, с начала и до конца – гимн повторам. Вопрос – ответ, снова вопрос – и снова ответ. И так сотни страниц. Однообразие убийственное. Но случается, что и здесь ловишь ни с чем не сравнимое ликование. В словах его нет, взяться в них ему неоткуда, но ты его прямо на ощупь чувствуешь. В худо пропечатанной слепой машинописи, сквозь нескончаемые “да – нет” вдруг сам собой пробивается другой ритм, другой темп и другое напряжение. Прежде ты плутал в трех соснах, метался туда-сюда без смысла и разумения, а тут, когда совсем отчаялся, вдруг дорога и виден дом – до него рукой подать.

Первый раз, что путь верный, он наконец взял след, Зуев начинает думать примерно месяц спустя после ареста Жестовского. В газете “Правда” он читает, как Ленин водил за нос царскую охранку. Из Шушенского прямо в Швейцарию Надежда Константиновна одну за другой посылала открытки с Енисеем, Байкалом и строящейся Транссибирской железной дорогой плюс несколько

строк обычных бабьих благоглупостей. А между ее аккуратными гимназическими прописями Ленин уже собственноручно, но не чернилами, а невидимым для шпиков молоком вписывал точные, краткие будто приказ, указания товарищам по партии, как им организовать вооруженное восстание.

И вот Зуев читает статью в “Правде” – и вдруг понимает, что Телегин с Жестовским наверняка тоже пользовались симпатическими чернилами или другой дрянью, которую с полоборота не распознаешь. Потому и не взяли до сих пор ни одного нарочного, что в них не было нужды. Советская почта – будто наивная тургеневская барышня, справно, вдобавок за копейки, сама всё доставляла куда надо.

Жестовский арестован, интенсивно допрашивается, но Телегина пока никто не трогает. Следствие предполагает, что ему известно, что Жестовского взяли, даже наверняка известно. Но в чем он обвиняется, выяснить не у кого. Чтобы исключить малейшую утечку, Жестовского держат в одиночной камере.

Заставить Жестовского дать нужные показания Зуев может в любой момент, но пока ничего не форсирует. Да, подследственного ставят на конвейер, но бить до сих пор не бьют. Оттого Жестовский и хорохорится, раз за разом заявляет, что никакими симпатическими чернилами ни он, ни Телегин не пользовались. Ничего подобного не было.

Жестовский настолько в себе уверен, что даже пускается в рассуждения. Заявляет, что, конечно, возникни необходимость, и он, и Телегин могли бы не хуже Ленина вести секретную переписку. У Телегина в лагере наверняка есть зэки из москвичей. Бери любого, за лишнее письмо, тем более посылку, что он сам, что его родня в лепешку расшибутся. Каждое слово Зуев мотает на ус, но по видимости будто и не слышит. По-прежнему он работает по двум направлениям и докладывает начальству, что где раньше сладится – не скажешь.

С одной стороны, у него, Зуева, свой человек, опытный шифровальщик, второй месяц сидит на Магаданском почтамте. Каждое письмо, что вытекает из телегинского лагеря или втекает в него, смотрит под микроскопом. Раз Телегин знает, что Жестовского взяли, он, ясное дело, должен начать писать московским покровителям, просить помощи. Впрочем, пока тут пролет. Прошел месяц, а сеть пуста. Остается дежурное блюдо – чистосердечное признание.

Зуев хороший рисовальщик. По утрам, если под настроение, он рисует Жестовскому награды, которые ждут его и никак не могут дождаться. На рисунках – в следственном деле их не одна сотня – кающийся Жестовский, очень похожий на свою фотографию в деле, а так – очи опущены долу, руки молитвенно сложены у груди, и тут же в пару – совсем другой обвиняемый, уже ликующий. Глаза бодро устремлены горе?, руки, хоть по-прежнему у груди, но держит он их теперь ковшиком. И не зря.

Дело в том, что над обоими Жестовскими парит сам Зуев, этакий толстый, весь в складках бутуз, и, раздувая щеки, дудит в огромную духовую трубу. Зуев уверенно, твердо ведет карандаш, и бока трубы прямо лоснятся от черного жирного грифеля. Труба – рог изобилия, из которого прямо бьет фонтан разного рода подарков. Каждый в аккуратной коробочке, она в свою очередь перевязана ленточкой с бантиком, тут же табличка с ярлыком. Иногда просто надпись, но случается и целый рисунок.

Вот одна такая картинка. Тюремная камера, у стены шконка, на ней, свернувшись калачиком, спит зэк. А внизу прописными буквами: “Хоть сутки напролет”. На других ярлычках: “Посылка”, “Ларек”, “Баня”, одна, вторая, целая гроздь “Прогулок”, “Больничка”, “Усил. питание”. Коробочки кружатся поверх листа, но уже изготовились упасть в “ковшик” Жестовского.

Впрочем, любую награду надо заслужить, о чем подследственный, ясное дело, догадывается. Зуевский рог изобилия любому понравится. Жестовский хочет всё, что так мастерски нарисовано на полях протокола; всё-всё – и баню, и ларек, и прогулки. Но в первую очередь, конечно, спать: пять суток непрерывного конвейера немало – оттого и бежит, несется во весь опор. Взахлеб, перебивая себя, сознается, что да, следователь прав: многие годы он и Телегин, что бы ни случилось в их жизни, где бы оба ни были, находились в тесном, никогда не прерывающемся общении.

Это достойные, хорошие речи. В них есть признание вины, есть раскаяние, есть понимание, что и следователь с ним честен. Он, Зуев, никому не желает зла, просто соразмерно греху должно быть и воздаяние. Так устроен мир. На воздаянии он с начала и до конца держится. Не Зуеву с Жестовским здесь что бы то ни было менять. Похоже, подследственный это принимает, соглашается с ним. В его согласии важно смирение, уважение к существующему порядку вещей. Оба знают, как легко всё разрушить, пустить под откос.

Между тем Жестовский продолжает. Шаг за шагом он подтверждает то, что Зуев думал насчет его дела. В протокол заносится признание, что чуть ли не каждый день Жестовский обсуждал с Телегиным, что? собирается делать. Если Телегину что-то не нравилось, если он говорил, что с этим и этим не согласен, Жестовский даже не начинал работы.

Речь о его старой рукописи “Пролетарское языкознание”. Ее первые главы писались еще в середине двадцатых годов. Он тогда ее не дописал. На полпути бросил. И вот пару лет назад решил вернуться. Очевидно, решил правильно, говорит он Зуеву, потому что раньше всё шло через пень-колоду, а теперь как на вороных.

Тут же он занялся и другой своей вещью – “О литургике”. Он, Жестовский, еще в двадцатые годы начал над ней работать, потом отошел, можно сказать, и думать забыл. Столько вокруг всякого разного было, что если бы ему сказали, что пройдет тридцать лет и он опять вспомнит о литургике, не поверил бы. Но перед войной достал “Литургику” – и не жалеет. Ни о чем не жалеет. Ни о том, что снова ею занялся, ни о долгом перерыве. От того, как сейчас смотрит на литургику, в двадцатые годы он был очень далек. Услышь от кого-нибудь, что сам теперь о ней думает, даже не понял бы, что? ему говорят.

Зуев, вежливо: “Поясните следствию”.

Жестовский: “В настоящее время, гражданин следователь, литургия для меня не просто ось веры. Не просто то, что крепит, держит мир, каков он есть, вообще делает его возможным. Я убежден: всё, что его составляет, что мы видим, слышим, понимаем, есть законные, обязательные части единой литургической службы”.

Перед нами прямая цитата из протокола, и особой нужды что-либо добавлять нет. Мысль передана внятно, без серьезных пропусков, в то же время видно, что Зуев записывает за Жестовским скорее по инерции. Подследственный пока признаётся не в том, что Зуеву в данный момент интересно.

“Я человек верующий, – говорит подследственный, – и убежден: что бы кто ни думал, мы никогда не говорим и не пишем «на деревню дедушке». Всегда начинаем с точного адреса, тщательно проверяем и перепроверяем его, но почта по разным причинам работает медленно, плохо. Впрочем, если повезет, письмо

дойдет куда надо и ты еще при жизни получишь ответ. Но и при другом раскладе тоже нет повода отчаиваться.

Я знаю наверняка, – продолжает Жестовский, – что в настоящей длинной жизни, той, что началась задолго до твоего рождения и кончится тоже невесть когда, ничего не было и не будет напрасно. Каждое слово, к кому бы оно ни было обращено, дойдет до адресата, будет им услышано. И это, в общем, утешает”.

Я читаю протокол, читаю страница за страницей, и во мне прочнее, прочнее мысль, что Жестовский и тогда обращался отнюдь не к Зуеву, его роль – просто точно записать, чтобы не пропало, не кануло в небытие. И другое подозрение, которое со временем во мне только усиливается: что Кожняк, мой начальник, как видно, много чего понимает в жизни, и он совсем не случайно отправил именно меня работать в лубянский архив, читать тома следственного дела Жестовского.

Потому что мистика это или не мистика, но, похоже, среди прочих адресатов Жестовского и ваш покорный слуга. Значит, в общих интересах нас – меня и его – свести. Для какого дела – я если и узнаю, то не сразу. Впрочем, не важно, для какого, как не важно и то, что Жестовский обо мне не мог ничего знать. Главное, с помощью Кожняка его послание меня наконец разыщет.

“В двадцать пятом году, – как всегда за чаем рассказывает Электра, – когда мой брат, в то время безымянный ребенок, лежал в роддоме, будущем Грауэрмановском, партком Метизного завода, на котором наш отец работал обрубщиком металла, постановил назвать младенца Зориком, что означало “Завершим Освобождение Рабочих И Крестьян”. Эта парткомовская бумага в рамке и под стеклом до сих пор висит у меня в комнате, и брат до своей гибели в сорок третьем году оставался для всех Зориком, хотя паспорт ему выправили на Алексея.

Бабка нашей матери была якутской принцессой, какие-то якуты давно осели – торговали или пахали землю, но их род продолжал кочевать, перегоняя табуны лошадей с горных пастбищ на равнинные и снова в горы. В свою очередь и мать, застоявшись на месте, скучала, томилась. Мы с братом, совсем маленькие, помнили, как, затосковав, непричесанная, неприбранная, в старом китайском

халате, она, будто не находя двери, бродит-бродит по комнате, и жалели отца, знали, чем это кончится.

Мать, как и якутская бабка, была замечательно хороша собой, отец очень ее любил, но всё как-то ровно, без взлетов, и долго существовать в этом спокойном обожании она не умела. Конечно, к отцу она по-своему была привязана, во всяком случае, за многое ему благодарна. Еще едва знакомые, оба решили, что любовь может быть только свободной, ставить друг другу препоны они никогда ни в чем не будут.

Впрочем, для отца свобода так и осталась теорией, а мать сменила за жизнь немало партнеров, у нее были и короткие романы, и долгие связи. Она даже дважды, причем на несколько лет, уходила от отца, оба раза к одному и тому же человеку. Этого маминого второго мужа мы с братом звали “папа Сережа Телегин” и долго колебались, не могли решить, кого предпочесть. Тем более что отец, во всяком случае, внешне, был человеком неярким, другое дело – папа Сережа.

Телегин был очень силен, можно даже сказать, могуч. У него были красивые мышцы, ни одна из них нигде и никогда не выпирала, они просто не спеша перекатывались под кожей, будто тугие плотные валики. Он работал в цирке силовым гимнастом, и мы часто видели его либо в трико, либо полуобнаженным, и хоть были еще маленькими, хорошо понимали, что? мать в нем находила. Его отец, Телегин-старший, был известным цирковым борцом-классиком, может быть, и не столь легендарным, как Поддубный, но тоже весьма знаменитым. У папы Сережи хранились целые стопки афиш его выступлений.

Сережа, как я понимаю, был не слабее своего отца, но у него в последних классах гимназии открылась астма, то есть выжать он мог чуть не полтора центнера, а вот на долгую схватку сил не хватало. Оттого он и стал силовым гимнастом, стоял на ковре и, как атлант – небо, держал на плечах многоярусные конструкции из других гимнастов. У него было несколько своих номеров, причем совершенно уникальных. Всего он мог держать десять человек, из которых умудрялся собирать архитектурные шедевры вплоть до Пизанской башни.

В школе подругам я хвасталась и тем, что у папы Сережи была бездна фигурных баночек с самыми разными маслами и притираниями. Вообще он умел ухаживать за собой, что наша мать тоже ценила. Да и нам с Зориком нравилась его бархатистая кожа, а под ней гуляющие туда-сюда шары мускулов.

Я даже и то одобряла, что глаза у папы Сережи чуть навыкате. В итоге с вопросом, кого считать за правильного папу, лично я определилась только к концу школы, в тридцать восьмом году, когда поехала в Воркуту, где отец отбывал ссылку после своего третьего тюремного срока.

Мать, уходя от отца с маленькими детьми, то есть с нами, Зориком и мной, вещей почти не брала. Не знаю, на что она надеялась, но в ней жила уверенность, что и на новом месте всё образуется, будет еда и крыша над головой. Возможно, дело было в талисмане, который, встав на крыло, она всегда забирала с собой и который всегда был самой увесистой частью нашего багажа.

По-видимому, во времена оны это был бивень большого мамонта, сверху донизу как бы спеленутый лентой резьбы. Впоследствии что-то похожее мне попадалось на снимках триумфальных колонн римских императоров Траяна и Августа и в замечательно красивом альбоме коронационных торжеств уже нашей императрицы Елизаветы.

На бивне гарцевали отряды лучников и копейщиков, каюры-тунгусы правили собачьими упряжками с доверху нагруженными нартами, пастухи гнали оленьи стада, табуны лошадей, самых лучших жеребцов и кобыл вели под уздцы конюхи, и эту нескончаемую процессию бахромой обрамлял орнамент из связок шкур. Соболи, песцы и бобры, лисы и куницы. Всё принадлежало той самой якутской прабабушке. Сейчас мне уже некого спросить, везла ли процессия приданое или выкуп, который за бабушку заплатили.

По преданию, у якутской принцессы было пять дочерей и, умирая, она велела распилить бивень на пять равных кусков, так что каждая получила свою долю несметных богатств. Бивень пилили и дальше, но матери достался еще вполне добрый кусок. Как понимаю, она считала, что без нужды расточать наследство грех, но если припрет, меха, пару оленей или одного из коней она легко продаст и на то, что выручит, сможет жить дальше.

В октябре 1920 года, – говорила Электра, – почти на год раньше положенного, отец по амнистии освободился из заключения. Сидел он в Каргополе, но сразу спешить в Москву не стал, обычным паломником ездил от одной обители к другой. В каждой останавливался, жил иногда и по неделе. В Воркуте он говорил мне, что монастырская жизнь его по-прежнему манила и он не раз думал, что в каком-нибудь из монастырей мог бы остаться, наконец успокоиться.

Но обители одну за другой закрывали, однажды повесили замок на дверь прямо при нем. Было похоже, что скоро в России не останется даже самого маленького скита.

Получалось, что, и приняв постриг, придется бегать, но он сознавал, что пока к этому не готов. Был еще один путь: принять постриг и остаться в миру, но Жестовский и здесь колебался. К середине марта двадцать первого года он все-таки вернулся в Москву.

Возвращался веселый и, что дома его ждет афронт, не предполагал. Отец потом до конца жизни считал: тогда получил ясный знак, мол, на его счет всё решено, острил, что настолько, что дело даже успело дойти до обменного бюро, где теплую светлую родительскую квартиру с радостью поменяли на сырую и темную монастырскую келью.

Поднявшись по лестнице, Жестовский сначала пытался открыть дверь своим ключом, но, видно, кто-то заменил замок, потому что ключ не лез в скважину. Он стал стучать, в конце концов дверь открыли, но впустить не впустили, вытолкнули через порог сундук с вещами и посоветовали убираться. Вдобавок пригрозили, что, если снова начнет ломиться, вызовут милицию.

Он понимал, что правды не добьешься, но в домком пошел. Здесь услышал, что отсутствовал больше полутора лет и его квартира в точном соответствии с законом была признана бесхозной. По решению собрания жильцов неделю назад ее отдали внаем давно стоящему на очереди машинисту паровозного депо. Весьма заслуженному работнику, вдобавок многодетному. В домкоме лишь согласились пока оставить у себя его сундук. Раньше Жестовский был человеком, которому было где преклонить голову, а теперь в мгновение ока не стало, и что дальше делать, он не знал.

Конечно, квартирный вопрос тоже был частью жизни, которую, по словам отца, ему следовало узнать, прежде чем принять постриг. Жестовский это понимал, но понимал и то, что за время отсидки растерял старых знакомых – кого-то уже нет в живых, многие уехали, и теперь у него нет ни единого адреса, где бы он мог попроситься переночевать”.

Через неделю (17 мая 1981 года) и, в сущности, о том же:

“В Воркуте, – говорила Электра, – отец рассказывал, что свой род мы ведем от цыганенка, подброшенного на паперть новгородского Хутынского монастыря. Монахи его и воспитали. Потом, повенчанный на дочери священника, он унаследовал приход и священствовал во Пскове. Служил в церкви на Торговой стороне почти десять лет, после чего довольные им богатые псковские купцы-гости переманили его в Москву, где у них было свое подворье.

«Как я уже рассказывал, – продолжал отец, – дальше семья была уже чисто священнической, и всё же в каждом поколении цыганская кровь хоть раз да взбрыкивала. Поколение моих родителей не исключение. Моим дядей был известный на всю Россию цирковой борец, атлет феноменальной силы, но в прочих отношениях человек милый, сентиментальный, готовый помогать всем и каждому.

Он не был гуляка, хотя женщин любил, в кутежах же вообще не участвовал. Помнил, что век борца-классика краток: чем бить посуду по дорогим кабакам, лучше или дать деньги на доброе дело, или отложить на черный день. В итоге к тому времени, когда он перестал выступать, у него в разных тайниках лежало несколько тысяч золотых царских десятирублевок. Этим золотом он довольно щедро делился с родней, всё равно его хватило почти до начала последней войны. Дяди не стало в январе сорок первого года.

Обратиться к нему напрямую, – говорил Жестовский, – я не мог: дядя тогда жил с семейством в Тамбове, но он-то меня и выручил, когда, отбыв тюремный срок, я выяснил, что у меня нет ни кола ни двора».

Тогда, уже без сундука, с одним тощим сидором вернувшись на Ярославский вокзал, он чудом вспомнил, что на дядины деньги неким бароном Троттом недавно куплена очень недурная мастерская под крышей углового дома в Кривоколенном переулке, и вдруг сообразил, что, если заявится в эту мастерскую, скорее всего, в ночлеге ему не откажут. Так и вышло, – говорила Электра. – У Тротта он не просто прожил десять месяцев – его мастерская свела отца с нашей матерью. Без нее не было бы ни меня, ни Зорика. В общем, как он любил говорить, была бы совсем другая жизнь”.

Дня через два, опять же за чаем, Галина Николаевна рассказывает, что, по словам отца, в мастерской “якутка” (так он обычно звал мать), конечно, видела, что он по ней сохнет, но решила, что выйдет из него настоящий мужчина или не

выйдет, бабушка надвое сказала – пока не похоже, – в любом случае именно он должен сделать первый шаг: честно, прямо сказать, что не может без нее жить, а не страдать рядом за занавеской.

“«На фоне Тротта я, конечно, терялся, – говорил отец, – вот уж кто и вправду был настоящим мужчиной: большой, мощный, уверенный в себе, вдобавок он ее и меня содержал, но о Тротте-любовнике она поначалу не думала, помнила, что, как ни крути, он ее родня. Однако чтобы именно с нее Тротт писал свои панно для ресторана, бани и борделя, себе уже разрешила.

Впрочем, и тут не до конца. У нее не выходило из головы, что девственницей позировать для столь откровенных сцен не совсем правильно, фон Тротт слишком хороший художник, чтобы та печать, которую никакой мужчина пока с нее не стер, не осталась на холсте, и вдруг поняла, что тут-то и изюм.

Еще в гимназии учитель рассказывал о культе богини Весты и о весталках, примерить и то и то на себя здесь, в мастерской Тротта, было очень соблазнительно. Но она колебалась. На свою беду, я пугал ее нерешительностью, несмелостью, главное же, бесил бесконечными разговорами о чистоте, святости монашеской жизни. В сущности, говорила она себе, если он думает только о Боге, чего ему мешать, а с другой стороны, чего так страдать, чего до утра ворочаться на матрасе?

Нельзя сказать, – продолжал отец, – что мать не любила безвыходных ситуаций, она их просто не признавала. Возможно, дело было в крови якутской княжны, возможно, в чем-то другом, но она вышла из детства убежденная, что справится с любыми обстоятельствами.

Ее и вправду достаточно хорошо снабдили в дорогу, чтобы смотреть на взрослую жизнь без трепета. Умная, волевая, красивая, она, когда мы уже жили вместе, не раз говорила, что и в гимназии не сомневалась, что как у ее подруг сложится судьба, она, естественно, не знает: у кого-то, наверное, хорошо, у кого-то не очень, у нее же будет, как пожелает.

Повторяла, что даже Гражданская война далась ей легче истории с Троттом. Гражданская война была общим бедствием, и она, и другие понимали, что, когда вокруг разруха, голод, холод, вдобавок вши, испанка косит и косит людей, – всё в руках Божьих. С самого человека спрос невелик. Иное дело мастерская Тротта.

Ей казалось, что здесь она всякий раз принимала верные решения. Например, вызвалась позировать барону.

Однажды прямо посреди семейной сцены твоя мать, – говорил отец, – остановилась и будто на уроке, спокойно, методично стала разбирать эти свои решения. Сначала сама с собой согласилась, что они были непростые. Но она, будто героиня французской революции, даже честью была готова пожертвовать ради общего блага. Это о позировании Тротту. Потому что деньги за работу были получены, частью и проедены, возвращать их нечем; если заказ сорвется, придется проститься с мастерской, а тогда где нам всем искать крышу над головой?

Но тут выясняется, что Тротт из-за каких-то своих мужских закидонов писать ее не может. То есть она позирует и он сутки напролет работает, но холсты выходят из рук вон плохие. Баб, с которыми барон не спит, которых, по его собственному выражению, он прежде не познал, не поимел, – он не понимает. В них для него нет жизни: не человеческая плоть, а кусок мяса. Соответствующий и результат.

Так что она, раз нам необходимо, чтобы заказ был сделан и принят, опять же во имя общего блага, готова и на другую жертву – лечь с Троттом в постель. То есть снова проблема не в ней, а в бароне. Она человек долга, человек слова, для нее надо – значит, надо, а он жил и живет в мире, где страшнее инцеста греха нет.

Вокруг режут, насилуют, убивают, вокруг самая настоящая революция, которая рушит, под самый корень крушит старый мир, а он уверовал в идиотские условности, его с них не сдвинуть. Кроме того, они ведь не детей собираются стряпать, единственное, что она хочет, это чтобы он убедился, что она живая, чтобы он ощупал ее и обмял, вошел в самое ее нутро, овладел со всеми потрохами, если надо, вывернул наизнанку и такую, которая теперь вся его, перенес на холст.

У якутки была подруга, – рассказывал отец, – которая первый аборт сделала еще в выпускном классе гимназии. Сейчас она была анархисткой и активным членом общества “Долой стыд”. Говорила, что на повестке дня у нас Рай, а в Раю Адам и Ева должны быть наги. Иногда целой ватагой они в чем мать родила вламывались в трамвай – толпа улюлюкала, плевалась, их щипали, лапали, поносили самыми грязными словами, но они не сдавались, через весь вагон прорывались на заднюю площадку.

Она уговаривала и якутку пойти с ними, но та пока не решалась. Единственное, что подруга ненавидела, была ревность, которая в минуту даже однопартийцев, братьев по оружию умеет сделать лютыми врагами. Говорила: почему бы мне не раздвинуть ножки, не дать товарищу по классовой борьбе, не доставить ему удовольствие? И чего ревновать – член не мыло, не измылится, и с моей щелью тоже ничего худого не приключится.

Голова мужчины должна быть забита не нашими грудками и попками, половая жизнь – такая же потребность, такая же нужда, как и всякая другая, справь свое дело и с новыми силами строй бесклассовое общество. Подруга, – объяснял дальше отец, – была посвящена во все отношения якутки и Тротта, естественно, полностью ее поддерживала, о бароне же отзывалась с презрением»”.

“С презрением подруга относилась к барону или нет, – продолжает Электра, – это ничего не меняло, было ясно, что место матери в его постели. Соблазнить Тротта, когда они работали, она и не пыталась. Пока она позировала, барон смотрел на нее едва ли не с ненавистью. Ему всё в ней не нравилось, всё казалось деланым, искусственным: и как она лежит, и как сидит, и как ходит.

Возможно, так и было. Мать искала, как угодить, но не хватало опыта. Кроме того, многодневные неудачи запугали ее до последней степени. Что бы барон ни говорил: «выпрямись», «немного откинься», «положи руки на грудь» – она от его вечно раздраженного голоса готова была расплакаться. Видит бог, она всё старалась сделать в лучшем виде, что называется, показаться, но против холста у нее не было шанса. На мольберте была очевидна неумелость, неуемность ее тела, его корявость и угловатость. Барону нужны были плавные линии, нужна была нежность и вкрадчивость.

Словно Тротт был не художник, а парфюмер, заказчики требовали, чтобы и самый воздух его картин был пропитан индийскими благовониями, от которых кружится голова, подкашиваются ноги, просили смешать их с ароматом дорогих сигар и старого коньяка, и, наверное, барон смог бы им угодить, но мать своим неловким, оттого несмелым телом ломала ему игру.

Тротт старался как мог: тяжелыми лоснящимися портьерами, плюшем кресел и козеток оттенял кружева вечерних платьев и тонкого белья, из вычурного гипюра мастерил для маленьких, но без сомнения красивых грудок своей натурщицы розетки, всё это венчал длинной изящной шеей и головкой с

профессионально растрепанными локонами, но ничего путного не получалось. То есть так, один на один, взять барона матери было нечем. Но она не была бы восточной княжной, если бы и тут не нашла выхода. Во всяком случае, если бы не думала, что нашла. У якутки было два козыря, их она и решила разыграть.

Тротт много лет прожил в Японии, буквально бредил ею, а у материной подруги еще с довоенных лет сохранилось очень красивое кимоно настоящей японской работы: шелк, вручную расшитый красными драконами, прячущимися среди зеленых бамбуковых зарослей. «Вторым козырем был я, – рассказывал отец Электры, – смотревший на нее с вожделением, от которого оторопь брала. В общем, она решила, что из кимоно получится отличная приманка, а я сойду за живца, на нас обоих она и возьмет Тротта.

С двух до четырех барон отдыхал. У твоей матери вечно была бездна дел и, получив вольную, она обычно уходила из мастерской. Мы же с Троттом оставались дома: ели, если было что, пили чай и разговаривали. Очень часто о православном каноне – как и когда он складывался, об отцах церкви и литургике. Может, канон его и вправду интересовал, может, нравилось, что благодаря семинарии я в подобных вещах неплохо разбираюсь.

И вот с кружкой кипятка в руках мы ведем неспешную теологическую беседу, время примерно без пятнадцати четыре, то есть перерыв уже заканчивается и Тротту скоро к мольберту. Мать тоже должна появиться с минуты на минуту, ей еще надо раздеться, напудриться, подчеркнуть черной краской брови и красной – губы, в общем, привести себя в порядок – для всего этого барон в углу мастерской старыми холстами выгородил ей гримерную.

Она открывает дверь – и Тротт смотрит на часы: ее точностью он доволен. Потом я догадываюсь, что весь свой обеденный перерыв якутка провела у подруги, доводила до совершенства то, что последует дальше.

На ней японское кимоно с драконами, оно и вправду очень ей идет. Прежде так одетой Тротт ее никогда не видел и теперь смотрит на якутку с интересом. С большими раскосыми глазами и высокими скулами, вдобавок с волосами, уложенными как у настоящей гейши, она смотрится чистопородной японкой. Барону в новом обличье она явно нравится. Понимая, что это успех, – держит паузу, стоит минуту или две, дает нам возможность оценить и свой наряд, и макияж, главное, саму себя. Потом не в закутке за холстами, а прямо перед нами медленно, плавно начинает раздеваться. Достает, высвобождает из бесконечных

складок шёлка гру?ди, живот, наконец бёдра и ноги.

Она видит, что я свою партию пока играю как надо, от ее щедрот глаз не могу оторвать, то есть мной она довольна и бароном тоже довольна – кимоно произвело впечатление. В общем, как будто всё идет хорошо, даже очень хорошо. Но, увы, она не знает, что это ее последний успех. Что полоса везения тут обрывается. И сейчас барон, даже не заметив, по?ходя на всю жизнь выбьет ее из седла. Потому что, едва она делается голой, Тротт о ней забывает, просто отворачивается.

Потом, – говорил отец, – когда мы уже жили вместе, я часто от нее слышал, что с моего согласия, больше того, при прямом моем попустительстве она и пошла по рукам. Где я был со своей любовью, когда она, еще невинная девушка, раздевалась для Тротта, когда только и думала, как с ним переспать? Без ропота, по первой просьбе принимала позы, на которые и проститутка не пойдет.

Короче, Тротт и я работали вдвоем, на пару сделали ее шалавой – один, причем бездарно, рисовал для борделя, а другой за обе щеки уплетал хлеб, которым она оплатила собственный позор. Впрочем, говорила мать, она и сейчас жалеет, что барон на нее не польстился, потому что та история сломала ее через колено. Так что люблю я ее или не люблю, кому это важно? Ничего хорошего у нас всё равно не получится.

Я понимаю, – говорит отец, – что в ее обвинениях была правда. В том, как началась ее взрослая жизнь, было много непростительного. Публичный дом, для которого Тротт ее рисовал, – заказчик покривился, покривился, но в конце концов три панно с твоей матерью взял, – закрылся только на исходе НЭПа. Не то чтобы среди наших знакомых были завсегдатаи подобных заведений, но Тротт хороший портретист, и ее узнавали.

У нас уже были и ты и Зорик – слыша перешептывания на свой счет, она буквально взрывалась. Помню, что однажды какая-то моя дальняя родня – приезжий с Украины – осторожно спросил, нет ли сестры, очень на нее похожей, – так его просто спустили с лестницы. В общем, Тротт и я были свидетелями унижения, которое ни забыть, ни простить она не могла. Будь мы по одиночке, мать со своим до крайности причудливым умом давно бы что-нибудь придумала, объяснила, в том числе и самой себе, что никакой мастерской никогда не было, но нас было двое, и с этой стереоскопичностью она не знала,

что делать.

Между тем, – рассказывал отец, – в жизни Тротта наметились перемены. Кимоно стало последней каплей – барон осознал, что заказ горит ярким пламенем и, если он не хочет, чтобы мы в полном составе пошли по миру, необходимо что-то предпринять. Проблема решилась за один день, правда, Тротту для этого пришлось достать из кубышки страховую заначку – десять червонцев.

Человек прижимистый, барон тянул до последнего. А так заказчик подобрал в соседнем борделе, который, думаю, и содержал, для Тротта неплохую барышню – десяти червонцев хватило как раз на месяц. Девушка во всех отношениях была в его вкусе, главное же, у нее не было недостатков твоей матери. Сильная, красивая и очень яркая казачка, не знаю, что там намешалось, но восточной крови тоже было немало. Барышня рассказывала по-разному, но, кажется, одна ее бабка была турчанкой, а другая черкешенкой. С новой натурщицей дело сразу заладилось.

Наверстывая время, Тротт писал свою барышню весь световой день. Заплаченные за нее червонцы казачка отрабатывала и ночью. Барон, раздвинув холсты, в несколько раз увеличил закуток, в котором прежде была гримерная твоей матери, сколотил из брусьев и досок помост, – уложил на него два набитых ватой матраса, в итоге у них с казачкой получился уютный будуар.

Чтобы не путались под ногами, нас он отселил в глухой, без окон, угол мастерской. Мы сами отгородили его кусками фанеры, а затем занавеской поделили на две крохотные комнатушки. Оба, кажется, поначалу ликовали. Барон работал, а мы – каждый в собственной каморке – радовались жизни. Я читал, что делала мать, не знаю. Но ночью выяснялось, что и своя каморка еще не рай, в лучшем случае его преддверие.

По-видимому, Тротт был могуч или просто он изголодался за два месяца, что ему позировала твоя мать. Теперь, когда работа пошла, его отпустило и он во всех смыслах был на подъеме. Нас они, естественно, не стеснялись. Казачка кричала так, – рассказывал отец, – что мы до утра глаз не могли сомкнуть.

Мы с ней оба были девственниками, но скоро, как и что мужчина делает с женщиной в постели, знали до тонкостей. Нам казалось, что Тротт своей барышне не дает отдохнуть и минуты, мучает ее прямо с яростью, будто идет

его последняя ночь. И ему хватало сил и на это, и на работу. Троттовскую мастерскую, – рассказывал отец, – я вспоминал, и когда мы уже жили с якуткой, даже по видимости всё у нас было неплохо, и когда она уходила к моему кузену Сергею Телегину. Вспоминал в тюрьме и на воле. Вывод всякий раз был один, он и сейчас кажется мне недалеким от истины.

Суть его в том, что как сложилось, так сложилось, никто из нас виноват ни в чем не был. Больше того, в обстоятельствах, в каких мы оказались, все вели себя вполне пристойно. И барон, который нас пустил жить к себе в мастерскую и почти год содержал. Кормил, поил, одевал на свой счет, что он не захотел спать с троюродной сестрой – ему ведь в вину не поставишь. В общем, чересчур похабное было время, а дальше – твоя мать права – ничего было не поправить.

Тревожит меня и другая мысль, – объяснял отец, – твой дед и мой отец Осип Жестовский настаивал и настоял, чтобы, прежде чем уйти в монастырь, я узнал жизнь. Только вряд ли он себе представлял эту мою жизнь. То, что он хотел, было из другого времени, общего – кот наплакал. И тут уже речь обо мне. Стоило ли в совсем новых декорациях продолжать следовать у него в кильватере? Но может, да, стоило.

Дожив в Белграде до конца тридцатых годов, твой дед ни разу мне не написал, что ошибся, что было бы куда лучше, прими я постриг. Ну тут другой вопрос – где: монастыри ведь позакрывали, а монахов поставили к стенке, будто белых в Крыму. Выходит, везде клин. Налево пойдешь, черт знает на что набредешь. И направо тоже не лучше.

Я о монашестве думал, – говорил отец, – и когда якутка от меня уходила и когда возвращалась, думал, когда она мне сказала, что мои дети на самом деле не мои, ей их сделал Сережа Телегин. И еще раньше, когда лежал у себя за занавесочкой в мастерской, а Тротт всё не мог успокоиться, до первых петухов мучал, мучал свою барышню.

Между тем работа была выполнена и триумфально сдана заказчику. Сорок огромных масел – два на три. Разврат во всех культурах и во всех его видах. Занимающиеся любовью индийские боги, греческие оргии, пляшущий вприпрыжку козлоногий Пан, окруженный сладострастными сиренами, и Вакх с вакханками, римские бани и лупанарии.

Сцен из жизни Вечного города была добрая половина. Пару лет назад барон по случаю прикупил альбом фресок из Помпей и Геркуланума. Теперь они пошли в ход, очень ускорили дело. Работы с твоей матерью Тротт переложил работами с новой натурщицей, заказчик взял все и заплатил даже щедрее, чем обещал. Вернул Тротту и его десять червонцев, отданные за барышню.

Началась сытая полоса. НЭП вошел в силу, рестораны открывались как грибы, и барон, уже сделавший себе имя, был нарасхват. Вдобавок пошли государственные заказы – тоже немалые. Например, барон, зазвав в помощники старого товарища по академии – одному было не справиться, – оформил физкультурный парад 1 Мая, который прошел на Красной площади. Как и рестораторы, его обнаженную или почти обнаженную натуру власть приняла на ура. В общем, к концу двадцать первого года Тротт имел на руках столько денег, что ребром встал вопрос, что с ними делать.

Заказов было много, прежнего куска мастерской ему не хватало, да и от нас он устал. Взвесив и одно и другое, барон пришел к выводу, что сейчас самое время решить проблему. И вот как-то, когда якутки не было дома, а мы с ним сидели за столом и пили уже не кипяток, а настоящий чай, вдобавок не с сахарином, а со всамделишным сахаром, барон сказал, что три года назад мой дядя подарил ему пятьдесят червонцев, на которые и была куплена мастерская. Теперь он может и хочет вернуть долг. Но, зная мою натуру, понимает: надолго мне червонцев не хватит – я их или раздам, или просто потеряю.

Поэтому, как и мой дядя, он рассудил, что недвижимость надежнее золота. Ее так просто в распыл не пустишь. И присмотрел для меня светлую сухую комнату в Протопоповском переулке. Большую комнату с двумя окнами. Но тут есть одна заковыка – сейчас всё вздорожало и владелец просит не пятьдесят, а восемьдесят червонцев.

На сегодня и восемьдесят червонцев для него не вопрос, в общем, он согласен добавить, с тем, однако, чтобы на Протопоповский я взял с собой и якутку. Комнату нетрудно перегородить, значит, мы сможем жить – хотим врозь, хотим вместе. Я сказал, что меня, ясное дело, этот вариант устраивает, но устроит ли он ее, не переговорив с ней, сказать не могу. Впрочем, и здесь легко сладилось: твоя мать предложению барона была явно рада.

Вещей у нас было немного, можно было собраться за час, но пока оформляли ордер, прошел месяц; переехали мы, только получив его на руки. На прощание

фон Тротт сделал нам три роскошных подарка: выдал сухой паек, в нем хлеб, шматок сала на килограмм, чай, сахар и отчего-то небольшая бутылочка спирта. К пайку добавил американскую пишущую машинку “Ремингтон” в очень хорошем состоянии – мать в начале Гражданской войны занесло в Саратов, и там она в штабе атамана Дутова перепечатывала приказы. Барон про Дутова знал и, отдавая машинку, сказал, что с ней на кусок хлеба она всегда заработает.

Третий подарок ждал нас уже на Протопоповском – в комнате стояла широкая железная кровать с пружинками. Впрочем, кровать была только одна, и твоя мать так на меня посмотрела, что я сразу понял: спать буду на полу. Электрического тока не давали, светло было только рядом с окнами, но на улице быстро смеркалось, и мы, неизвестно куда спеша, каждый на своем куске подоконника стали раскладывать скарб, потом середину того же подоконника приспособили под стол, а позже разгородили комнату на две.

Ели, – рассказывал отец, – хлеб с салом, картошку, всё это на радостях запивая троттовским спиртом. Но или по незнанию недостаточно его разбавили, или с голодухи он как-то странно на нас подействовал, в общем, что было дальше, ни твоя мать, ни я не помнили. Хотя, думаю, дело было не в одном спирте, просто, насмотревшись, наслушавшись того, что творилось у барона, мы больше не могли поститься. И знали достаточно, чтобы никаких проблем не возникло. Выходит, нужда во второй кровати отпала. Правда, утром, – рассказывал отец дальше, – я, как ты понимаешь, в самом светлом состоянии духа сходил умыться, вернувшись же, вижу, что якутка, скрестив ноги, сидит в рубашке на постели и смотрит на меня злобным волчонком.

Я не удержался, говорю: “Знаешь ли, в соответствии с новым уставом Всероссийского комсомола, если комсомолец занимает активную жизненную позицию и регулярно платит членские взносы, любая комсомолка из их ячейки обязана отдаваться ему по первому требованию”. Но она только процедила: “Ты не комсомолец”, – укрылась с головой одеялом и отвернулась к стене. Когда же наконец соизволила встать, заявила, что никаких прав на нее я не имею, она намерена пользоваться полной свободой, моих клятв она, естественно, тоже не ждет.

Эти условия показались мне справедливыми, я легко на них согласился. Считал, что после того, через что мы оба прошли, серьезных обязательств у нее передо мной быть не может. Сам я изменять ей не собирался. А в остальном мы ладили, жили довольно мирно. Теперь у меня была своя крыша над головой и, когда у

него в Москве были дела, у нас стал останавливаться мой двоюродный брат, сын дяди, известный цирковой акробат – он выступал под фамилией Телегин.

Я Сережу всегда любил, – говорил отец, – был рад каждому его приезду. Кроме того, комната в Протопоповском была куплена на деньги Телегина-старшего, и по справедливости была не столько моя, сколько его. Впрочем, ни Сережу, ни меня подобные вопросы тогда не волновали.

В Протопоповском Ирина родила тебя, а еще через три года – я уже работал на заводе в горячем цеху – Зорика. Периодически она не ночевала дома, иногда исчезала даже на несколько дней, однако я неудовольствия не выказывал. Мне с ней было хорошо, я был натурально влюблен, но, конечно, знал, что она относится ко мне куда сдержаннее. Это было видно по всему. Хотя с работой помогала, что писал – на своем “Ремингтоне” без раздражения перепечатывала»”.

На полях:

Следующий разговор для меня памятен. Именно тогда впервые зашла речь о второй жене отца Электры – Лидии Беспаловой. Позже, в последние год-полтора жизни Электры, без нее не будет обходиться ни один наш разговор. Ее отношения с Жестовским во всех смыслах выйдут на первый план.

Еще через пару дней снова за чаем я говорю: “Скажите, Электра, а ваш отец никогда не вел дневника? Ведь жизнь у него выдалась такая, о какой нечасто услышишь – четыре срока, пять следствий”.

Электра: “На моей памяти – нет, а раньше точно да. К концу жизни, когда стала слабеть память, он, бывало, будто вы сейчас, начнет сокрушаться, что не вел поденных записей, и тут же смеется, что, если бы вел, дней бы этих не было – лет тридцать как лежал бы во рву с пулей в затылке. Рассказывал, что в тридцать пятом году, когда его в третий раз арестовали, дело попало к неглупому следователю, майору Стопареву.

Случай нечастый, у них, что у нас, план и потогонная система, а Стопарев никуда не спешил. И то выспрашивал, и это. Но больше другого дневниками интересовался. У отца было сложное положение. Он под подпиской «сделал

ноги», прибавьте еще побег из-под стражи.

Месяцем раньше – я про нее, – поясняет Электра, – узнала уже в Воркуте – арестовали его тогдашнюю жену Лидию Беспалову. Она беременна на шестом месяце плюс открытая форма туберкулеза. В общем, он очень за нее боялся, ну и скучал, конечно, тоже. Решил просить свидания, ему дали, собрал кое-как посылку, теплые вещи, сухофрукты, табак – несмотря на больные легкие, она дымила как паровоз – и пошел.

Всё отдал, посмотрели они друг на друга, и больше он ее никогда не видел. И ребеночка, девочку Ксению, которая в лагере родилась, не видел. Ксения слабенькая оказалась, года не прожила. Саму же Лидию в тридцать шестом году отправили в Курган на переследование и дали вышку.

Возвращаясь, отец понял, что за ним пустили топтуна. Думали, наверное, выяснить, где у него лежбище, и всех, кто с ним и с Лидией связан, загрести. Но отец был уже опытный, он топтуна вычислил – дело было в Уфалее: городок маленький, улицы пустые, незнакомого человека сразу видишь, – и решил, что будет водить и водить его по кругу, пока служивому не надоест. Но не рассчитал: у топтуна добротная новая шинель, а у самого отца подбитое ветром ветхое пальтишко.

Январь, холод страшный, он уже сутки не ел. В общем, отец первый стал замерзать. Руки, ноги деревенеют, до конца ни одну мысль не додумать, засыпаешь прямо на ходу. Правда, главное пока помнишь: в дом, где тепло, где они с Лидией чалились, идти нельзя.

Недалеко от городского вокзала отец понял, что совсем околевает, свернул туда. Хотя знал, что если где и не уйти – как раз с вокзала. И всё равно пошел. Взяли его в зале ожидания. Только сел на лавку – прямо у буржуйки место освободилось – стал отогреваться, подгребают двое – оба в штатском, – один книжечку в лицо тычет, а другой вежливо: «Пожалуйста, ваши документы», потом: «Пройдемте».

Челябинский поезд пришел через два часа, на нем отца и повезли. К тому времени он уже отогрелся, когда увидел, что скоро длинный тягун – они с Лидией здесь два года бродяжили, знали эти места как свои пять пальцев, – попросился в уборную”.

Дальше рассказывал так: “Идем – занято, вышли покурить в тамбур, чекист в штатском и ведет себя со мной как с приятелем. Когда он себе папиросу из портсигара доставал, я ему сделал подсечку – старый телегинский трюк – втащил в другой вагон и будто пьяного как куль бросил, никто и внимания не обратил. Закрываю аккуратно дверь и из тамбура сигаю наружу.

Скорость небольшая, сугроб глубокий, упал удачно – только отряхнуться. Сразу за канавой лесок, к нему и метнулся, дальше речка, мост, а после моста три дороги, какая мне по вкусу придется – не вычислишь. Я уже спокойно, чтобы внимания не привлекать, пошел по той, что ближе к реке – через три километра деревня, на краю дом совхозной счетоводши некой Антонины, женщины очень богомольной, строгой и скрытной. Я у нее не раз литургию служил. У Антонины в доме был второй погреб, сделано так искусно, что, если не знать, никогда не найдешь – вход из каморки в сенях. Хороший, обшитый досками, со столом и лавкой. Однажды я почти три недели там жил, ждал, пока обо мне забудут, переключатся на других бедолаг.

По-новому меня тогда арестовали только через полгода. Про свой побег, – рассказывал отец, – я и думать забыл, столько всего было, а тут выясняется, что я забыл, а они не забыли, и что это не просто побег, а с нанесением тяжких телесных повреждений – конвоир мой головой ушибся, сотрясение мозга. Вдобавок при исполнении… В общем, как ни крути, расстрельная статья. Самому никогда не выпутаться, только если следователь захочет, пособит, еще можно надеяться. Короче, я моему Стопареву ни в чем не отказывал”.

“Не отказывать отцу было тем проще, – говорит Электра, – что по натуре он был парный игрок и чуть не с первого допроса умел делаться со следователем одним целым, понимал его и чувствовал как себя”.

“И вот, – рассказывал отец, – я Стопареву всё как есть разложил по полочкам и снова к дневнику возвращаюсь. Тем более что он напомнил, говорит: «Скажите, Жестовский, почему мы, когда ваших берем, каждый раз дневники находим? Штука, как понимаете, для нас полезная, человек собственноручно дает на себя показания, и так год за годом, ни дня не пропустит. Тут уж не отвертишься – сразу можно писать приговор. А вы уже, видно, знаете, что к чему, не захотели нам помочь, всё сожгли?»”

Я: “Да нет, просто жизнь больно паскудная, мотаешься, мотаешься, где голову преклонить, не знаешь. Тут хочешь не хочешь лишнего не потащишь”.

Через пару дней Стопарев опять: “А почему всё же ваши ведут дневники? Или они вперед не смотрят, только о том и думают, как бы назад воротиться?”

Я ему: “Гражданин следователь, это потому, что у человека желудок однокамерный, набьешь его, если повезет, и спать валишься, а у коровы, у той двухкамерный, может, и больше, я точно не знаю. Как мы живем? Направо, налево – везде калейдоскоп и мельтешение, стремительность прямо кинематографическая. Одно, другое – не уследишь.

То же и корова: на пастбище рвет-рвет губами траву, до чего мордой дотянется, всё не разбирая хавает. А потом в хлеву ночью, что за день надыбала, шматок за шматком из рубца отрыгивает и уже заново, с толком с расстановкой, до утра жует. Так и у нас, попутчиков пролетариата: ближе к ночи сядешь за стол – и что было за день, по второму кругу обдумываешь. По-другому понимаешь, что? суета сует, томление духа, а что? следует оставить, потому, что в этом и соль”.

“Правда, отец со Стопаревым тогда слукавил, – говорила мне Электра на следующий день. – Дневник он бросил вести не потому, что приходилось бегать, скрываться. В двадцать восьмом году мать в очередной раз рассталась с Сергеем Телегиным (папой Сережей) и мы трое – она, Зорик, и я – опять стали жить с отцом (папой Колей) в наших прежних комнатах в Протопоповском.

Отец к тому времени полгода как освободился, больше того, Телегин устроил, что без минуса, с немалыми трудами он даже опять прописал папу Колю в Москве: помогло, что у самого Телегина карьера шла круто вверх. Кто-то, с кем он после Гражданской войны служил на польской границе, сражался с бандами Булак-Балаховича, выбился в большие начальники и теперь снова звал его с собой, на сей раз в Среднюю Азию. Мы там завязли в песках, пытаясь выследить басмачей, каждый месяц теряли сотни людей, но ситуацию переломить не могли. Командировка на два года, а учитывая, что сейчас это передний край, опаснейший участок борьбы с контрреволюцией, – звания, чины, награды все вне очереди и выслуги.

В общем, мать понимала, что отказаться папа Сережа не может, если откажется – не сохранит и то, что имеет. Получалось, что ей тоже придется с ним ехать. Поначалу мать думала, что она с нами будет жить в Ташкенте, а Телегин по мере возможности туда наезжать. Ей казалось, что в Ташкенте так или иначе, но свой быт она наладит, хотя вообще-то в Среднюю Азию, в тамошнюю жару и

чудовищную антисанитарию ехать категорически не хотела – уж больно была брезглива. И мы с Зориком не хотели. Я ходила в школу, очень хорошую, сто десятую, и была влюблена в свою учительницу Надежду Леопольдовну, из «бывших». Надежда Леопольдовна была красивая и ласковая, хотя другие девочки считали ее слишком грустной.

Наверное, было разумно не тащить нас бог знает куда, а оставить с папой Колей, о чем он много раз просил, объяснял маме, что ей будет только легче – но у мамы была идефикс, что Жестовский камень на шее, он кого хочешь утянет на дно, оттого чем больше мы к нему привязаны, тем хуже.

О том, чтобы навсегда нас от него отлучить, она не думала, но считала, что место папы Коли в нашей жизни – второй, третий план. Тем более что уже успела всем и вся объявить, что мы дети Сергея Телегина (папы Сережи), героя и заслуженного чекиста, соответственно к Николаю Жестовскому (папе Коле), неустроенному, неприкаянному человеку, который вдобавок не первый раз оказывается замешан в крайне неприглядные истории (это о папиных посадках), не имеем никакого отношения. Мы же смотрели на дело иначе.

Мы очень любили папу Сережу. Я ведь говорила, – продолжала Электра, – что он был и молодцеват, и настоящий атлет, вдобавок никогда не отказывался с нами поиграть, а на дни рождения буквально заваливал замечательными подарками. У меня, например (единственной в классе), были целых три фарфоровые куклы, которые не просто открывали и закрывали глаза, а умели напевать песенки и по-немецки желать спокойной ночи. Зорику на его недавнее четырехлетие папа Сережа принес игрушечную железную дорогу с тремя локомотивами и двумя десятками тендерных вагонов, с туннелями, подъездными путями и зданием вокзала – на его фронтоне даже ходили часы, с водокачкой и ремонтным депо.

Но в отличие от матери мы боялись потерять и папу Колю. Когда он на несколько лет уезжал, мы не понимали, почему он соглашается так долго жить без нас, и очень по нему скучали. Я и от себя и от Зорика писала ему большие подробные письма, где рассказывала всё, что происходит в нашей жизни, например, что пошла в школу, мою учительницу зовут Надежда Леопольдовна и она очень добрая, а Зорика перевели в старшую группу детского сада, он там читает по слогам. Всё оттого, что не любила, когда люди, которые давно тебя не видели, деланно изумляются, как ты выросла, и всплескивают руками.

И папа Коля на каждое мое письмо, пусть и не сразу, отвечал. Не просто рассказывал, где он сейчас живет, работает, а внизу и на полях страничек рисовал красивые картинки. И мы с Зориком знали, как выглядят горы, он их называл сопками, которые папа Коля видит из одного из своих окон, море, на которое можно смотреть из другого.

Море то было чистым, то по нему плавали льдины, а на склонах гор, когда сходил снег, расцветали цветы. Сначала совсем белые, потом, ближе к середине лета новые – ярко-желтые и красные. Цветы вместе со мхом и лишайником он тоже нам рисовал, а для того, чтобы мы лучше запомнили, рядом аккуратно приписывал их названия, по-русски и по-латыни. Также и с бабочками, которых сажал прямо на цветы, и птицами, что ютились на выступающих из моря скалах.

А еще в этих письмах он помогал мне решать задачки по математике – прежде я отставала, а тут вышла у Надежды Леопольдовны в лучшие ученицы, – и к каждой придумывал загадку или шараду. Некоторые были очень сложные, даже мама их разгадать не могла, а Надежда Леопольдовна могла: найдя ответ, она всякий раз била в ладоши и смеялась, так они ей нравились.

В общем, оставлять нас с папой Колей в мамины планы не входило, но тут на работе Телегину объявили, что о Ташкенте и речи нет, если с ним едет жена – это хорошо, он вправе рассчитывать на отдельную мазанку на той же погранзаставе в предгорьях Копетдага, куда сам назначен командовать. Копетдаг стал ударом ниже пояса. Два дня мама проплакала, а потом объявила Жестовскому, что решила к нему вернуться.

Впрочем, первые несколько дней она была тихая и вялая, ни во что не вмешивалась, до вечера не вставала, лежала в постели. Или на той же постели сидит, закутавшись в шаль, ждет, когда отец, собрав меня в школу, а Зорика в детский сад, подведет к ней прощаться. Перекинется несколькими словами, поцелует и снова отвернется к стенке. И мы и отец понимали, что ей очень тяжело, и старались не шуметь, даже если хотели поиграть, чтобы не тревожить, уходили в коридор.

Но мама была сильным человеком, за пять дней она пришла в себя и решила, что раз так вышло, что она снова хозяйка на Протопоповском, будет разумно привести комнаты в порядок. Началась генеральная зачистка территории или, как сказал отец, правильно не ждавший для себя ничего хорошего, – общий шмон. Среди того, что было тогда выкинуто, лагерные письма отца мне и

Зорику, но сейчас речь не о них.

В одном из сундуков мама наткнулась на отцовский дневник и, не сомневаясь, что имеет полное право, стала его читать. То, что она там нашла, потрясло ее не меньше афганской погранзаставы. По-видимому, отец очень о ней тосковал. По несколько раз в месяц он записывал, что всю ночь ему снилось, как они, обнявшись, вместе гуляют по Бульварному кольцу, проходят его от Арбата до Яузы. Не отпуская друг друга, посидят на скамейке и идут дальше.

И хотя это был лишь сон, просыпался он таким радостным, каким себя и не помнит. Под другим числом она обнаружила, что опять же всю ночь была рядом с ним, он держал ее в своих объятиях. Тут же снова: какое счастье чувствовать рядом с собой ее тепло, слушать, как она дышит. Но доканала мать следующая запись, которую она зачитала нам с Зориком с начала и до конца.

«Мне снилось, – писал отец, – что она лежит рядом. Лежит тихо, даже кажется, дремлет. А я ее ласкаю. И всё было так натурально, что я не сомневался, что наяву. Страсти, может, от того, что она спала, было немного, зато великая нежность. И в том, как ее гладил и как целовал, касался губами совсем легко, потому что боялся, что разбужу и она будет недовольна. Потом, когда всё закончилось и мы лежали рядом, оба потные, я, чтобы ей не было неприятно, немного отодвинулся. И сразу заснул.

И тут, будто меня решили наказать, мне стал сниться какой-то несправедливо плохой сон, а по отношению к ней просто подлый. Что вот мы встречаемся на улице, она с каким-то человеком в военном френче, глаза у него недобрые и он плохо выбрит. У обоих совсем чужие лица, но видно, что они не просто идут рядом, их связывают те же отношения, что раньше связывали нас с ней, но она всё оборвала и теперь живет с ним.

На меня и она, и он смотрят недружелюбно, будто я неслучайно тут оказался, специально их выслеживал. И вот как раз на этом я просыпаюсь, хочу просить у нее прощения, буквально валяться в ногах, потому что первая часть сна, когда я ее ласкал, – явь, а вот эта мерзкая сцена на улице – ложь, и до меня очень медленно, очень мучительно – слишком крепко я спал – доходит, что всё наоборот».

Мать была разъярена. Получалось, что она бросила человека, отказала ему в своей любви, а он, будто так и надо, продолжал каждую ночь ее иметь. Ясно, что это было настоящим насилием, прямым надругательством над ней, над ее волей и телом. Оставлять без последствий подобную мерзость никто не имел права. Мать знала толк в выстроенных, по-театральному выверенных мизансценах. Когда отец с нами пришел домой, она поставила его у стола, сама с дневником села в кресло, а мы – я и Зорик, держась за подлокотники, должны были фланкировать ситуацию. Получился настоящий суд.

Отец, который уже не в первый раз ждал вынесения приговора, лучше других понимал, что к чему, и буквально дрожал, мы тоже нервничали. Но мать читала отчеркнутые записи уверенно, явно чувствовала себя на коне. Очевидно, поначалу планировались лишь несколько ярких абзацев, но отец хорошо писал, и она увлеклась. Переворачивала страницу за страницей.

Похоже, она даже не заметила, что я, а потом и Зорик, отошли от кресла и, сделав несколько шагов до отца, к нему прижались. Когда мать поняла, что произошло, она несколько минут проплакала, а затем – как была в слезах – убежала в свою комнату. Дальше, пока не вышел весь срок командировки папы Сережи в Среднюю Азию, мы прожили вполне тихо и мирно.

Отец, – рассказывала Электра, – говорил мне и о другом своем дневнике. Объяснял, что важнее важного, чтобы что-то да осталось. Пусть не сейчас, когда-нибудь выплыло на свет божий. В Европе люди в завещаниях просят не публиковать личную переписку еще пятьдесят, сто лет после их кончины, но то не беда, ведь ничего никуда не девается, каждая страница кротко ждет своего часа. Оттого, когда была возможность, отец и после двадцать восьмого года временами вел дневник.

Пока бегал по городам и весям, не знал: этой ночью будет у него крыша над головой или нет, о дневнике, конечно, речи не шло, но Господь, говорил он, следит, чтобы одно в твоей жизни перемежалось с другим, не всё же удирать сломя голову. Как увидят наверху, что ты запыхался, весь поту, так сразу в каталажку и в лагерь, чтобы, значит, охолонул, посидел, осмотрелся. Разобрался, что было в жизни, пока тебя мотало из стороны в сторону.

В принципе, что о хорошем, что о плохом отец высказывался неопределенно и по-разному, не любил подобных оценок, но была одна вещь, которую он уважал, – я часто от него слышала, что без человеческой памяти вообще ничего

бы не было. Главное – запомнить и сохранить, а там уж разберутся, кто свой, а кто враг. Это как с городом, с тем же Петербургом, объяснял он мне: сколько людей закопали, пока его среди топей строили, – подумать страшно, но сейчас их бы уже всё равно не было, а город стоит.

Люди, говорил он, однодневники, не успели появиться на свет божий, тут же спешат, торопятся умереть. Еще и до сладкого чая с пирогом дело не дошло и не наговорились всласть, а уже собираются, им надо уходить. В городе, продолжал отец, есть большая правда, несомненно и в людях, которые осушали здесь болота, прокладывали каналы и мостили дороги, в тех десятках тысяч, которые с вечера, как обычно, бросят на землю охапку соломы, лягут, а утром уже не встанут, – не меньшая, но, когда они вошли в стык, город победил, и теперь он памятник им обоим.

На каждой из зон, где отец отбывал срок, – рассказывала Электра, – он был вась-вась с начальником оперчасти, неделю за неделей писал ему подробнейшие донесения о том, что происходило в лагере, обо всех разговорах и настроениях. Я это знаю точно, – рассказывала она дальше, – потому что шесть месяцев, которые прожила с отцом под Ухтой, сама их перебеливала.

Прежде ему на лесоповале поранило правую руку, а левой он писал уж очень коряво. Жаловался, что, читая его каракули, опер разве что не матерился. Вот вы, Глебушка, вправе меня спросить: что же он был за человек? – перебила себя Электра. – Как, что я рассказываю, свести в одно? Потому что если мне верить, получается, что мой отец и в лагере доносил на людей, и на следствии сдавал их по первому требованию, то есть просто всегда и всех предавал, больше того, очень многих из тех, на кого он дал показания, не стало в самое короткое время. Но вел он себя так, будто это правильно, будто иначе и быть не может, потому что он их не закладывает – в жертву приносит. И эта жертва всем нам, в том числе и погибшим, необходима”.

“У меня был одноклассник, – продолжала Электра на другой день опять же за чаем, – очень способный математик, он даже ходил на семинар в университет. Как-то я его спросила, чем они там занимаются, и он сказал, что уже месяц изучают гармоничные ряды. Что у них были за ряды, и по сей день не знаю. Но что отец слишком легко становился членом любого гармоничного ряда, сколько бы их ни было, – точно. Хотя он никогда не был обыкновенным флюгером, встанет на сторону сильного и живет спокойно – нет.

Обратившись в большевика или истинно православного из тихоновцев, он целиком и полностью перенимал новую правду. Больше того, человек неординарного ума, всячески ее развивал, вел дальше. То есть он себя считал человеком даже не правды, а истины, то и дело мне повторял, что я нигде и ни при каких обстоятельствах не могу, не должна врать.

Вранье есть нарушение самой природы, естества, и это было не просто императивом. Он не скрывал, что в двадцать пятом году, когда его второй раз арестовали, он на следствии, месяц поупиравшись, всё и про всех рассказал, и говорил мне, что вдруг почувствовал такое облегчение, какое раньше знал только после исповеди. К двадцать пятому году он уже бог знает сколько лет не ходил в церковь, а тут ни с чем не сравнимое забытое им ощущение чистоты себя к нему вернулось.

Про чистоту матери было сказано, когда она пришла на свидание, и она была потрясена. Ведь он донес и на нее, взял и донес, хотя про мать его никто не спрашивал. Но ко времени, когда у отца кончилась ссылка, дело забылось, тем более что материн роман с Телегиным был в самом разгаре и ей было не до отцова доноса”.

Неделю спустя Электра решила повторить сказанное, стала объяснять: “По отцу, Глебушка, выходило, что может быть так, что убитые есть правильная, необходимая жертва, но поначалу я, хоть и не раз это слышала – понимала плохо. Переспрашивать же боялась, ведь, как ни назови, всё равно люди были, а теперь их нет. В общем, сама я на эту тему не заговаривала.

В то время – речь о тридцать восьмом годе, – продолжала Электра, – и ясно, что по прямому указанию Сталина, у нас решили реабилитировать царя Ивана Грозного. Мол, он и не тиран, и не злодей, а деятель прогрессивный, истинно народный. Опять же опричнина, без нее было не обойтись, потому что изменники-бояре на деньги Римской курии и иностранных правительств – Речи Посполитой, Швеции – плели заговоры, пытались извести Ивана Грозного ядами, наслать на него порчу. На самом же деле, писали тогда ученые, если смотреть на историю объективно, Иван IV – тот русский царь, который взял штурмом Казань, покорил наших вечных врагов, прямых наследников Золотой Орды – Казанское и Астраханское ханства, потом в придачу к ним и Сибирское. Правитель, который во много раз расширял не просто свое государство, а

территорию Святой земли, и провел необходимые реформы – раньше их ошибочно приписывали Избранной Раде.

Отец идущей дискуссией живо интересовался, читал не только что тогда печатали – статей, книг было множество и огромными тиражами, про эйзенштейновский фильм вы и без меня знаете, – но взял в воркутинской библиотеке «Четьи-Минеи» митрополита Макария и «Домострой» протопопа Сильвестра. Главное же – всё, что написал сам царь Иван. Переписку с князем Андреем Курбским, разные каноны, акафисты его сочинения. Свои разыскания он обсуждал и со мной, потому что был убежден, что, не зная собственной истории, нельзя считать себя образованным человеком.

Отец не сделался в одночасье поклонником Ивана IV, но говорил, что понять людей, находящихся на вершине власти, трудно, правильнее даже сказать, невозможно. Потому что тем, кого занесло так высоко, не надо думать о тяготах обычной человеческой жизни – еде, тепле, одежде, крыше над головой. Больше того, они о нас и о наших бедах знают лишь понаслышке, судят, может быть, уверенно, но понимают плохо, часто путаются.

«Те, кто на вершине, живут в мире чисел со множеством нулей, единица для них не одна человеческая душа, а народ, который они к тому же именно сейчас ведут в Землю обетованную. Ведут, – говорил отец, – не ведая страхов и сомнений.

То есть, – объяснял он, – здесь необходима иная математика, но мы, простые смертные, никогда ее не поймем, как и сами правители – она выше нашего понимания. Оттого, – продолжал отец, – Грозный и писал – ясно, что так и думал, – что каждый, кто невинно погибнет от рук его, праведного царя и наместника Бога на земле, будет спасен. Именно это слово “спасен”, – объяснял он, – тут главное; вдобавок освобожден от мук Страшного суда».

Дальше, – продолжала пересказывать отца Электра, – Иван говорил об убитых им как о кроновых жертвах. Да, распалившись на кого-то гневом, он мог и убить, если, на свою беду, ты оказался поблизости. Но и это было правильно, потому что дальше кровь, что в нем кипела, успокаивалась; насытив гнев, он кротчал и снова верной дорогой вел народ к Небесному Иерусалиму.

Когда речь заходила о Грозном, отец часто поминал и другое. Говорил: ты меряешь свою вину по соседу, повторяешь, что если он невиновен, то и тебе нечего предъявить. Мы одно. Но гора Синай свидетельствует о другом. Она говорит, что народ, весь целокупно, стоит оставить его без попечения, с восторгом впадает в ересь, отдается греху. Изваяет поганого тельца и сутки напролет отплясывает вокруг него.

И тут вступает в силу правило каждого десятого. Виновны все, то есть и лично ты, вне всяких сомнений, тоже виновен, но в искупительную жертву по неизреченной милости приносят лишь каждого десятого. Остальные, если покаются, до поры до времени будут прощены, смогут вновь вернуться на дорогу, что ведет к спасению.

И еще одна мысль отца из тех, что я запомнила, – говорила Электра. – Когда речь заходила о тяготах обычной жизни, он говорил, что те, кого судьба от них избавила, не взрослеют, до конца живут не ведающими греха младенцами. Личные покои – которые они так редко покидают, так этого не любят, – суть «детская»: запершись в ней, они играют до самозабвения. Причем, продолжал отец, как правило, в Священную историю. Играют, играют и до самой смерти не наиграются. Отсюда – что они дети и ни мы их, ни они нас понять не в состоянии – следовал еще один вывод.

При мне он объяснял нашему соседу в Ухте, что единственные, чьим мнением на их счет мы можем доверять, это другие правители. И не важно, о чем речь: о планах или о том, что в итоге из них проистекло, вылупилось на свет божий. Вышеупомянутого царя Ивана IV Васильевича Грозного, повторял отец, вправе судить лишь император Петр I да наш Иосиф Сталин. Оценки остальных (неважно, оправдывают они Грозного или клеймят) не стоят ломаного гроша.

А вот за то, что Сталин думает об Иване IV, не жалко полновесного червонца. И суть не в том, что у нас на царя Ивана теперь раскроются глаза. Оно, конечно, имеет место, но так, побочный продукт. Главное же – тебе со всей возможной прямотой объясняют, что? творится вокруг.

Больше того, верховная власть и дымку на горизонте разгонит, старательно ее рассеет, чтобы было ясно, и что нас ждет впереди. По первому впечатлению, Глебушка, – продолжала Электра, – то, что он говорил, звучало скорее снисходительно, особенно насчет Священной истории. Получался какой-то сплошной детский сад, и в нем мы, грустные, печальные игрушки, разбросанные

по полу. Нам командуют: стань тут, а теперь тут, и мы, как неживые, слушаемся. Да и не можем ослушаться: один раз неправильно поймешь приказ – и на тебе ставят крест.

Но на самом деле отец и это детство, и эту высокую игру в Священную историю старался понять; говорил мне в другой раз, что та честность, что есть в детях, их цельность и бесхитростность, их незнание смерти и отсутствие страха перед ней, на равных неумение ценить жизнь и дает возможность проложить к Святой Земле короткий, прямой путь.

Так, мы хоть время от времени и вспоминаем о Спасении, в сущности, идем за своими овцами. От одного пастбища, где солнце еще не до конца выжгло травы, к другому, от одного колодца, где осталась вода, к следующему. Но овцы не Моисей: с ними к Богу не выйдешь. А тогда на кого надеяться, если не на детей?

Я много на сей счет думала, и когда отец был жив, и потом, когда уже его схоронила, и мне кажется, – говорила Электра, – что навык понимать верховную власть был в нем от природы. Вдобавок всё, что было в его жизни, на это работало. Как работало, я вам потом расскажу, – заключила Электра. – А теперь, Глебушка, мне пора спать”.

Запись от 29 марта 1983 г.

Электра и позже часто возвращалась к тому, что за человек был Жестовский. По-видимому, не могла разобраться, и это ее беспокоило. То говорит: “Он был трогательным, будто ребенок, его нельзя было не любить, и умница – что ни спроси – всё знает. Жизнь у него, вы, Глебушка, не хуже меня понимаете, была не сахар, каждый мамин уход он переживал очень тяжело, хотя Телегина ни в чем не винил, продолжал относиться как к родному человеку. Если что надо, спешил помочь, здесь они с Телегиным на равных, потому что и Сережа, вытаскивая его из тюрем и лагерей, шел на большой риск, а не говорил, как другие: я тут ничего не могу.

Так отец прожил семьдесят четыре года, а без Сережи и до войны бы не дотянул, давно лежал на каком-нибудь лагерном погосте. В общем, они были хороши друг с другом, и тут даже мама ничего не сумела поломать. Ей это не

нравилось, говорю вам ответственно, – повторила Электра. – Я сама не раз слышала от нее, что на службе на то, что Телегин до сих пор не порвал с отцом, смотрят косо, но служба – ладно, бог с ней, со службой, говорила мать: хуже, что Жестовский не одного Телегина – всех утянет на дно.

Обычно Сережа к маме прислушивался, но здесь не соглашался, делал, как считал нужным. Только после тридцать девятого года, уже не живя с Сережей, мать поуспокоилась. Поняла, что Сережа больше не ее, и смирилась. Стало неинтересно, помогает он Жестовскому или нет, – тут Электра помолчала и, будто на что-то решившись, сказала: – Это я к тому клоню, что не просто так вытолкнула родную мать из Сережиной постели. Мне всё равно было, что он по-прежнему красив, статен, вдобавок в чинах; я видела, что отец гибнет, а я рядом стою и даже руки не подам.

Телегин с Жестовским, – продолжала она, – можно сказать, от природы были призваны работать в связке, а мать не просто между ними встала, еще их и стравливала. Взять, к примеру, Сережу – он кто? Да обыкновенный служака, конечно, надежный, конечно, преданный, и работоспособность дай бог каждому, но горизонт узок, даже не узок – щелочка.

Ведь за спиной никакого образования, с детства один цирк. Его профессия – силовая акробатика, тут он дока, здесь всё его, каждая мышца свой маневр наперед знает. Другой коленкор, когда ты не с тяжестями играешь, а преступление расследуешь. С преступником и умнее надо быть, и хитрее. Мало разоблачить, вывести его на чистую воду, – ты обязан проследить все связи, звено за звеном всю цепочку, как кто и чем они один другому пособляли.

А Сережа для этого чересчур прост. И наивности выше крыши. В органах таким нелегко: на Лубянке интрига на интриге, партии, группировки, свои, чужие. Конечно, у Сережи был человек, который знал его еще с Гражданской войны и как мог покровительствовал, но в тридцать восьмом его расстреляли – Берия посчитал, что он из ежовских прихвостней.

Самого Телегина в тот раз не тронули, но полгода туда-сюда ходило, могло и так лечь, и так. А Сережа только головой мотает, никак не поймет, что происходит. В общем, он был неплохой человек, честный, верный, это не отнимешь, а что в итоге у него на руках оказалось столько крови, так тут, я думаю, не его вина, в первую очередь – времени.

Теперь отец, – продолжала Электра. – Когда, узнав, чья дочь, я соблазнила Телегина, и потом, когда уже стала его женой, я не столько о нем думала, сколько об отце. Ведь он всегда ждал мать, ждал и ждал. В его верности был лишь один перерыв – три года, но к этому я еще вернусь.

В матери, конечно, была сила, – продолжала Электра. – Но сила – вещь неумная, многого она не понимала, думала лишь о себе. Не хочет ехать в какую-то тмутаракань на погранзаставу – и Телегин едет один, через неделю ей вдруг втемяшится, что отец в дневнике что-то не то о ней написал, и она меня и брата уже на него науськивает. С дневником ведь вправду на волоске висело. Я и Зорик – не подойди мы к отцу – и всё.

Думаю, она не хуже меня видела, что Телегину без отца никуда, но из-за своей ревности одного хотела, чтобы и первый, и второй только на нее смотрели, друг на друга – ни-ни. А то получается, что не она главная, не ради нее всё, а этого ей не вынести. Самому Телегину и в голову бы не пришло остаться в церковном отделе, где он сразу выдвинулся. И тоже благодаря Жестовскому. Потому что отец знал церковь и ее нынешнее положение, и историю как никто. Ходячая энциклопедия – все ереси и несогласия со времен ранних христиан, все церковные писатели – и наши, и католики с протестантами.

Бывало, у Телегина по плану профилактическая беседа с кем-то из иерархов. Зовут отца. Он на трех-четырех страничках и по пунктам вопросы изложит, уже не мать, а телегинская секретарша аккуратно на пишмашинке перепечатает, и когда церковный деятель войдет в кабинет, поздоровается, сядет, Телегин ему странички и подтолкнет. Мол, ознакомьтесь, по возможности ничего не пропуская, ответьте. Тот читает и себе не верит, а потом в объятия бросается – как давно мы таких, как вы, ждали, уже отчаяться успели.

Жестовский о каждом попе, и не важно, из синодальных или истинно-православных, мог сказать: кто он, откуда и к какой церковной партии принадлежит. А для матери, конечно, острый нож, что два человека, которые в нее влюблены, между собой в хороших отношениях. И ее дети тоже их обоих зовут папами: папа Коля и папа Сережа. Всё это как бы опускало, низводило и ее саму, и любовь к ней – конечно, она чувствовала себя оскорбленной. Тем более что то тут, то там приходилось уступать. Иначе отец давно погиб бы в лагере, а Телегин так бы и застрял в рядовых оперуполномоченных.

В общем, она терпела, и что мы их обоих зовем папами, и что они ладят между собой, но, мягко говоря, без восторга. А я для себя считала, что вот ей – всё равно будто Клитемнестре – досталось царство, а распорядиться им по-хорошему она не умеет. Делит надвое, начетверо и одну часть на другую натравливает, думает, что без гражданской войны нельзя: стоит выйти замирению, мы о ней и не вспомним. А пока идет война, худо-бедно держать нас в руках получается. Чуть на горизонте туча – и первый, и второй, и мы с Зориком – все к ней, все за юбку цепляемся.

Кстати, я отца ни в чем не оправдываю. Живу с тем, что он и на следствии подельников закладывал, и потом что в лагере, что на воле везде был штатным стукачом, – повторила Электра. – Многие из-за него погибли, но в истории, что в связи с его именем поминается чаще другого, материной вины не меньше.

Я тогда жила с Телегиным не в Москве, а в Магадане. Для мужа Колыма – нечто вроде ссылки. Разжаловали Сережу до капитана и отправили начальником маленького лагеря. В горах южнее и выше Охотска жи?ла свинца, рудник, а при нем зона. Это я к то- му, – продолжала Электра, – что многое знаю не из первых рук, понаслышке. Мать, как я всегда хотела, жила с отцом в тех же наших комнатах в Протопоповском, и вроде бы жила мирно. Никуда от него не уходила, других фортелей тоже не выкидывала. Матери было уже хорошо за сорок, но отец вспоминал, что ее прямо с ума сводило, что жизнь прошла, а главного она так и не получила.

Отец после войны закончил большой роман, его название – «Царство Агамемнона», основа – подлинные события, говорю уверенно, он даже в них участвовал. Мать, кстати, с этим романом очень ему помогала. Чтобы отцу с его больной рукой было легче работать, что надо, и частями и целиком перепечатывала. В общем, всё как в юности, когда он делал свою первую серьезную работу о новом пролетарском языке.

О ней еще будет речь, – прихлебывая чай, пояснила Электра. – И машинка та же – подаренный фон Троттом «Ремингтон». Ни разу не отказалась, только иногда спрашивала: «Ты и вправду доволен, как получается?» или «Тебе кажется, выходит интересно?» – Ну вот, отец за полтора года «Агамемнона» дописал, она финально – закладка в четыре копии – распечатала, и отец стал его давать близким друзьям. И то не целиком, отдельными главами. Выслушал, что они сказали, и хотел спрятать до лучших времен. Понимал, что чем меньше людей будут знать о романе, тем для всех спокойнее. Но у матери были другие планы.

Она решила, что, коли ей теперь приходится жить не с Телегиным, без его возможностей, без его денег и персональной машины, на худой конец, сгодится и слава, много славы. И вот за чаем или еще где она начинает спрашивать читавших «Агамемнона» – как он им? Не подробно, а так, между делом. То есть и она и ее собеседник понимают, о чем речь, им и двух слов достаточно.

Самой матери роман – в общей сложности она перепечатала его уже раз пять – не показался. Мать посчитала, что он скучен и нестерпимо мрачен. В нем совсем мало радости, из-за которой она ценит жизнь, и, наоборот, слишком много страха. Но своему мнению она в подобных вопросах не доверяет, убеждена: вердикт тут – епархия профессионалов, людей с именем. Она и раньше за собой знала, что вот у нее что-то не идет – вяло, затянуто, сама давно бы бросила, а услышит, что тот-то и тот-то ставит вещь высоко, глядишь – и ей уже нравится. Читает, читает, не может оторваться. Так что если ей скажут, что роман отца настоящая сильная проза, она легко примет, тоже станет так думать.

И вот мать идет от одного к другому и всегда тет-а-тет, чтобы никто ни с чьего голоса не пел, пытается понять, что? она как про?клятая столько времени перепечатывала. Чего всё это сто?ит в базарный день? И ее собеседники в один голос говорят, что вещь замечательная. Такой сюжет, такая интрига, главное – ни на кого не похоже. И язык и стиль – мать знает, как это важно – тоже выше всяких похвал. И опять же, что каждое слово не наносное, не украденное. Что Жестовский пишет так, что прямо слышен его голос.

Мать: «А напечатать можно?»

Ей: «Почему бы и нет? В принципе да, можно. Конечно, с Главлитом будут сложности, не без того. Наверное, какими-то кусками придется пожертвовать, пойти на компромисс. В общем, и можно печатать, и нужно. В сильной прозе сейчас большая нужда».

Ясно, что никто не скажет, что вещь антисоветская, вся с начала и до конца. Потому что тогда ты должен не чаевничать с женой автора, не лясы с ней точить, а прямиком бежать на Лубянку. Каждый убежден, что мать и сама всё понимает, потому как, что бы кто ни говорил, она не вчера родилась, вдобавок многие годы была женой кадрового чекиста, который этими делами и занимался.

В общем, похоже, она просто играет дурочку – красивая женщина, хороший чай, печенья тоже хороши, и они ей подыгрывают, говорят, что роман из таких, что не каждый год на свете божьем появляется: если от нашего времени что и останется, «Агамемнон» – первый кандидат. В сущности, это ровно то, что она надеялась услышать, понятно, она этому верит, и какие у нее основания не верить?

И вот мать решает, что получила шанс, серьезный шанс, а лоб у нее крепкий, упорства тоже не занимать, так что если главлитовскую стенку можно прошибить, она прошибет. Только действовать надо не наскоком, а умно, по тщательно разработанному плану. В сущности, он у нее уже есть. Еще в бытность женой Телегина, она в его служебной квартире на Покровском бульваре держала открытый дом. По вторникам собирала известных музыкантов, актеров, режиссеров, меньше любила поэтов, но приваживала, подкармливала и их. То есть в этой среде у нее хорошие связи: ее обеды и вторничные домашние концерты до сих пор поминают. И вот она всех, кто ее помнит по телегинским временам, начинает не спеша обходить. Ссылаясь на тех, кому «Агамемнон» читался или кто сам его читал – а они не последние люди, – говорит, например, актерам (каждому, естественно, свое), что в романе есть такой герой – конечно, ты выдающийся мастер, но, сыграв его, навсегда останешься в истории русской сцены. Режиссерам – что роман Жестовского и переделывать не надо, он готов: одному – для инсценировки, другому – для экранизации. Там так показано наше время, такие судьбы, такие сильные характеры – «Агамемнон» легко возьмет Сталинскую премию, буквально сметет конкурентов.

Конечно, это лесть, обыкновенная лесть, но она работает. И полугода не проходит – а все только и говорят, как бы заполучить роман Жестовского. Убеждают ее, что первым следует дать именно им, тот-то и тот-то «Агамемнона» просто загубит. Уже и издательские работники, правда, пока негласно, к ней обращаются, тоже повторяют, что с радостью напечатали бы Жестовского у себя. Под материным нажимом отец, чтобы поддержать интерес, достает из тайников два экземпляра и под слово, что никто никому и ничего не скажет, снова начинает читать роман отдельными главами. Конечно, ясное дело, выбирает нейтральные, понимает – совать самому голову в петлю не стоит. Но и эти главы написаны сочно, без сомнения, талантливо. Короче, по всему видно, что мать ничего не преувеличивает.

То есть мать свою партию отыграла лучше некуда, только отчего-то забыла, что сейчас не прежние времена. А так шло, как надо, просто и на сей раз расторопнее оказались не издательские редакторы, а оперативные органы. Волна, которую мать подняла, еще и до своего гребня не добралась, а на Лубянке уже поняли, что имеют дело: а) с организацией; б) глубоко законспирированной (коли роман Жестовского толком еще никто не читал, даже в руках не держал); в) и сам роман, по-видимому, вещь глубоко антисоветская. Вместе и первое и второе и третье тянет на несколько серьезных пунктов 58-й статьи. В результате почти восемьдесят человек арестованных, могло быть и больше, но война только недавно кончилась, команды раскручивать дело по полной не последовало”.

“Вряд ли это как-то связано, – рассказывала Электра через неделю, опять же за чаем у меня в ординаторской. – Но именно вскоре после статьи двух генетиков, Ракова и Сидоркина, о близнецах в «Трудах Академии медицинских наук», отец написал собственную работу на ту же тему, но уже в литературе. А начало дискуссии в нижегородском журнале «Рабочий и искусство» о метафоре, о том, нужны ли вообще тропы и иносказания пролетариату, прямой дорогой идущему в коммунизм, совпало с его собственной большой статьей о литургике как метафоре мира, в котором можно спастись. Статья неизвестно почему оказалась подшита к его третьему делу, начатому производством в декабре тридцать четвертого года, но прямо просится под обложку нижегородского журнала”.

Я эту статью Жестовского уже знал, как и другую его работу о пролетарском языке, потому что читал их в томе, который рецензировал для издательства “Наука”. В своей статье о метафоре Жестовский приходит к ряду оригинальных выводов. Начинает он с общепринятого взгляда на метафору как на хоть и свернутые в кокон, но точные суть и смысл. Однако скоро уходит очень далеко.

“На первых порах, – пишет он, – наше понимание Бога вполне пантеистское – Бог везде и во всем; вне, помимо Него, нет и не может быть ничего. Но пройдет время, и Бог устанет затыкать уши, устанет от воплей, жалоб человека, что коли Он, Бог, везде, мы не знаем, куда идти, не знаем, где Его искать, оттого путаемся, бросаемся из стороны в сторону, в итоге так и тонем во зле”.

В этих обвинениях бездна нервозности и бездна обид, что наших, что Его. Человек упрекает Бога в том, что Он дал ему согрешить, не оградил, не закрыл высокой стеной это проклятое Древо познания. Ясно, что в саду, где гуляет только что появившееся на свет божий существо, ничего не разумеющее дитя, – такой дряни вообще не место. Именно от Господа исходил этот соблазн, и тут Он виноват даже больше змия, которому в Райском саду рядом с ребенком тоже нечего было делать. Следом Жестовский переходит к органам ВЧК – ГПУ – ОГПУ. Пишет, что если бы в те времена они уже были, то есть провидением Божьим были сотворены раньше человека, Древо соблазна и греха, выкорчеванное с корнем, валялось где-нибудь на пустыре. В худшем случае росло, огороженное прочным забором с колючей проволокой поверху и следовой полосой по периметру. И змия бы не спускали с цепи, не дали и словом перемолвиться с человеком. Тогда, что понятно каждому, всё сложилось бы по-другому, не столь печально, как мы теперь читаем в Бытии.

Эта мысль, что наши соблазны и искушения не самосев, они Божьих рук дело, плановые посадки, и тут же – что душа по Божьему соизволению была вдунута в человека, а о том, чтобы укрепить ее против греха, никто и не вспомнил, по мнению Жестовского, прямо напрашивается. Как и другое соображение, что коли Бог еще прежде всех времен Таков, каким мы о Нем знаем из Писания, и человек, каким создан при сотворении мира, таким и должен жить дальше, то, чтобы грех раз за разом не одерживал решительную викторию, не топтал праведность ногами, не растирал ее в пыль, опять же необходимы органы государственной безопасности. Лишь они способны уравновесить конструкцию, спасти, предостеречь человека от камней, о которые он претыкается, идя к Господу. Но пока Всевышний верит, что справится Сам. И вот, чтобы взгляд человека не рассеивался, не бегал блудливо туда-сюда, Он делается пламенем и, поместившись в кусте ежевики, неопалимой купиной открывается праведному Моисею. Конечно, это не решение проблемы, – чистой воды косметика, но облегчение на первых порах есть.

Господь день за днем в столбе огня и дыма ведет народ в Землю обетованную, и Иаков худо-бедно за Ним идет. Кажется, дела обстоят неплохо. Народ скоро перестанет нуждаться в вагоновожатом, с дороги в Землю обетованную его уже не собьешь. Господь так уверен в Иакове, что перебирается в самое нутро стана – Свое новое жилище – походный храм со Святая Святых и жертвенником. Отныне всё это на специальных носилках будут нести левиты. Только через века Святилище сменит Святая Святых Первого, позднее Второго Иерусалимского Храма. Ничего не изменится и после пришествия Спасителя – в каждой церкви, на равных – в каждом молельном доме будет собственная Святая Святых.

Значит, мы уже давно имеем дело с Богом, собравшим Себя в одном месте, и оно известно любому человеку.

Однако, по большому счету, ведь что было, то и есть. И до неопалимой купины Моисей сопротивлялся, отговаривался, чем только мог, чтобы не идти, не выводить народ из рабства. Следом эстафетой уже на Синае отговаривается, не хочет идти дальше сам народ: Египет с его горшками, полными жирного мяса, для него теперь и есть истинная Земля обетованная. Весь Исход – прямой саботаж Высшей воли, непростительная трусость и робость, истории неверия в Господа и Господу тех, кому Он предназначил Святую Землю. И именно с этим, всего страшащимся, колеблемым ветром племенем был заключен Завет.

Но разве мы найдем что-то подобное в нашей литургии? Хотя вся она так или иначе восходит к Писанию, в ней что Бог, что народ совсем не те. Их и захочешь – не узнаешь. Вся служба – сплошное «Аллилуйя», и неважно, как ее возглашают: троекратно у синодальных, или сугубо – у раскольников; в ней сначала и до конца одно только «славься». И понятно почему. Перед тобой Единый Бог и единый народ, и ни в том, ни в другом нет капли сомнения. И что скоро все спасутся, ждать недолго, до Небесного Иерусалима рукой подать, тоже подтвердит каждый.

Эта радость, это ликование продлится всю службу. Оно и впрямь подхватит душу, после отпущения грехов и причастия поднимет ее к самому престолу Господню. Но выйдешь из Храма – тут же райский город начинает терять очертания, таять. Не успеешь добраться до дома, от недавнего благолепия – ни следа”.

Через неделю Галина Николаевна снова вспомнила, как мать читала дневник папы Коли и как они с Зориком, чтобы поддержать отца, пошли к нему, обняли и прижались, вдруг решила это уравновесить. Сказала: “Я видела его и уркой, настоящим зверем. В тридцать восьмом году Телегина откомандировали в Новосибирск – надолго или нет, никто не знал и, пока суть да дело, мать решила нас с братом не дергать, не забирать из нашей родной 110-й школы. Я бы и сейчас, – сказала Электра, – не отказалась туда вернуться. В общем, мы остались в Москве. У папы Сережи были немалые возможности, и ему удалось устроить так, что отца – он отбывал десятилетний срок в лагере под Воркутой – через два с половиной года актировали по состоянию здоровья, отпустили в Ухту на поселение. Большего сделать не получилось, и отец, рассчитывавший, что вот-

вот вернется в Москву, затосковал. Письма, что он мне писал из Ухты, были такие грустные, что я места себе не находила: после каждой почты ходила зареванная. Наверное, я была сердобольная девочка, потому что, промаявшись несколько месяцев, решилась – отправила Зорика в Новосибирск к маме, а сама день спустя взяла билет на воркутинской поезд.

Конечно, когда я приехала, отец повеселел. В свою очередь, я была готова в лепешку расшибиться, только бы ему угодить. После лагеря он был очень истощен и, хотя здесь, в Ухте, работал на металлоремонтном заводе, имел рабочую карточку, выглядел как скелет из медицинского кабинета, только живой. Вдобавок из-за цинги был без единого зуба. На завод его взяли токарем-расточником самого низкого, первого разряда, в деталях он должен был сверлить несложные отверстия, но всё равно почти никогда не выполнял нормы. И потому что был неумел, неловок, и потому, что станки были старые, донельзя разболтанные. Кажется, американские еще прошлого века.

Силы, чтобы по-хорошему затянуть патрон, у отца не было, и когда он включал станок, сверло мотало, как пьяное. Аккуратно, ровно высверлить, что надо, без фарта не получалось. Заготовка за заготовкой шла в брак. Ясное дело, ни бригадиру, ни сменному мастеру это не нравилось. Отец тужится, пытается зажать сверло, а они стоят рядом и его матерят.

Особенно истерит мастер. Возьмет из корзины испорченную деталь и мало что сам – зовет других работяг. Посмотреть, что, значит, отец начудил. Бригада соберется, встанет, а он разоряется: что, пидор, интеллигент хуев, опять по баланде соскучился? Да ведь ты, блядь, диверсант, настоящий вредитель. И снова работягам – вот зараза, пожалел, взял урода на свою голову, теперь валандаюсь, будто с триппером. Завтра же сдам суку чекистам. Только на зоне ему и место.

В общем, отец всякий раз возвращался с завода больной, еле ноги передвигал. Он очень этого мастера боялся, понимал, что тот не просто выпускает пар – может раскрутиться такое дело, что никакой Телегин не поможет. Отец мечтал пойти работать в соседнюю с нами школу, где позарез был нужен учитель немецкого языка, но РОНО в Ухте – не знаю, как в других местах – брать на работу ссыльных категорически запрещало. Решить вопрос мог только местный оперуполномоченный, который к отцу относился неплохо и нужную бумажку ему уже не раз обещал, но пока ее не было.

К тому времени, что я приехала, отец успел отчаяться. Впрочем, потом я узнала, что у него, еще когда он встречал меня на Ухтинском вокзале, был план, как всё поправить. К счастью, он ничего не форсировал, правильно рассудил, что мне надо дать обжиться, привыкнуть к новому месту. Я стала ходить в ту самую школу, куда он хотел устроиться работать. Было это за месяц до зимних каникул, то есть уже в середине года. Пришла в класс, где ребята давно знали, кто с кем и кто против кого. В общем, где жизнь устоялась.

Новичку при таком раскладе нелегко. В лучшем случае тебя не замечают, но, бывает, делаешься изгоем, настоящим козлом отпущения. Я очень боялась, однако мне повезло. Соседями отца по бараку, прямо стенка в стенку, была семья, напоминающая нашу. Моя ровесница и, как сразу выяснилось, одноклассница Наташа и ее отец Алексей Гарбузов, ученый-гляциолог, преподававший в свое время в МГУ. В тридцать первом году он ввязался в дискуссию об освоении Арктики и попал под раздачу. Сел на пять лет по обвинению во вредительстве, пораженчестве и с тех пор, как и отец, сначала строил Беломорско-Балтийский канал, потом валил лес в Озерлаге.

Когда отбыл срок, назад в Москву его не пустили, в качестве места ссылки определили Коми Республику. Хорошие гляциологи были в стране наперечет, и он помогал местным инженерам прокладывать дороги, строить дома на вечной мерзлоте. Матери у Наташи не было: она умерла три года назад, Гарбузов еще сидел, и Наташа, оставшись одна, привыкла полагаться на себя. Тем более что и в Ухте отец жил дома по неделе, максимум по полторы. Обработает материалы, и снова в месячную командировку. Один из лучших наших мерзлотоведов, он консультировал дорожные службы по обе стороны Урала, от Северной Двины до низовьев Оби.

Понятно, что Наташа была только рада, когда я полдня и больше проводила у нее, часто у них и ночевала. Мы всё делали вместе: и играли, и готовили уроки, сердечных тайн друг от друга у нас тоже не было. Скрыть что бы то ни было от подруги, о чем-нибудь умолчать или обойти стороной нам в голову не приходило, и она и я сочли бы это за предательство.

В классе Наташа была несомненным лидером, уверенная в себе и решительная, необычайно способная, она всё схватывала на лету. Я уже говорила, что прежде училась в одной из лучших московских школ, в 110-й, была в ней не на последних ролях, и всё равно, чтобы не отстать от Наташи, приходилось ой как стараться. Ясно, что, когда она взяла меня под свое крыло, предложила

дружить, сидеть за одной партой, весь класс понял, что я своя, и с тех пор в этой ухтинской средней школе мне было так же хорошо, как и в родной 110-й.

Короче, мы с Наташей почти не расставались. Она ходила в драмкружок, ну и я записалась. Как и она, стала петь в школьном хоре, тут только одно было плохо – у нас оказались разные голоса: у нее сильное и очень приятное сопрано, а у меня чистое, хотя слабое, контральто, и на спевках мы стояли далеко друг от друга. Вместе с Наташей я ходила работать на опытную сельскохозяйственную станцию, где нас учили, что и как можно выращивать на земле, под которой никогда не тает лед.

В общем, я с Наташей была не разлей вода, и у отца в Ухте не было более близкого друга, чем Алексей Гарбузов. Когда в бесконечных гарбузовских разъездах случались перерывы, они всякий вечер чаевничали и играли в шахматы. Сначала договаривались об одной партии, потом играли контровую и дальше, войдя в азарт, не останавливались уже до середины ночи. За чаем разговаривали, причем весьма откровенно.

Отец рассказывал о заводе, о тамошнем бардаке. Гарбузов – о километрами тонущих дорогах, всё равно – гатях, обычных грунтовых и железнодорожных путях. О перекрученных морозом рельсах, которые кладут без правильной отсыпки грунта, иногда прямо на болото. Но главное, о десятках тысяч зэков, которые каждый год мрут в здешних лагерях. Они обсуждали и политику, и науку, и новые журнальные публикации, короче, держались друг с другом безо всякой цензуры.

В Москве, – говорила Галина Николаевна, – никто из тех, кого я знала, такие разговоры вести бы не осмелился. Так мы прожили полтора месяца. Отец, как и раньше, страдал на своем заводе. Повторял, что дело для него может обернуться новым сроком, я, конечно, за него переживала, но в остальном всё было неплохо. Со школой и учебой в порядке, у меня была близкая подруга, такая, о какой я мечтала еще в Москве и какой никогда в жизни не имела.

Дом я тоже сумела поставить, кормила отца, обстирывала его, убиралась. Ели мы, можно даже сказать, хорошо: сверх того, что отцу давали по рабочей карточке, время от времени у нас на столе была еще и зелень. Для Севера – огромная редкость. Пучок то петрушки, то укропа в награду за ударную работу мне подбрасывали в теплице на опытной станции. Я была горда, что справляюсь.

Тем более что отца, каким я его застала, и нынешнего невозможно было сравнить. На теле наросло мясо, он стал увереннее ходить, даже на заводе, насколько я понимаю, дела у него теперь шли лучше. Как-то он обмолвился, что если раньше запарывал каждую вторую деталь, то сейчас, когда появилась сила затянуть патрон, план он выполняет, работает не лучше, но и не хуже других, и ему кажется, что, если так пойдет дальше, мастер потеряет к нему интерес. Вдобавок под моим влиянием отец, месяц попричитав, как дорого, согласился вставить новые зубы. Из Москвы я привезла довольно много денег, их должно было хватить. В общем, у нас всё шло лучше, чем я ожидала, даже то, что я знала, что он стукач и каждую неделю носит отчеты местному оперуполномоченному, меня не очень смущало. Он почти этого и не скрывал. Как-то бросил, что ничего особенного тут нет, не он один такой. В другой раз сказал, что его завербовали еще в вологодской ссылке, когда отбывал свой второй срок. С тех пор он на крючке, и сорваться уже не получится.

Я и другое от него слышала в том же духе. Например, что стукачей на воле и по зонам столько, что использовать, что они пишут, никому не под силу. Всю остальную страну придется засадить, ни одного человека не останется пахать, сеять или на фабрике полотно ткать. Если я думаю, что на свете есть или были люди, кого он, отец, лично отправил за решетку, это чушь.

Арест всегда часть большого плана – случайностей здесь не бывает. Просто, что надо власти, мы не понимаем и никогда не поймем. Наше право гадать на кофейной гуще. А вообще-то, кого брать, когда и в чем обвинить – всё давно расписано и тихо-мирно лежит в папочке, ждет своего часа. Мы бежим на работу и с работы, топчемся в магазинах, а про этот дамоклов меч и знать не хотим, и правильно, что не хотим, потому что иначе жить нельзя, в дурке окажешься.

Для следователя, говорил отец, доносы – вещь, конечно, полезная: арестованный, если он видит, что запираться нет смысла, он как на ладони, сразу колется, ни у кого лишнего времени не отнимает. Но и без того, если захотят сломать, сломают за милую душу, подпишешь всё, что сунут, и не пикнешь. Отец, понятно, видел, что? я продолжаю думать о стукачах, потому и позже иногда о доносах заговаривал. Как-то сказал, что в них, ясное дело, есть смысл, потому и пишут. Но смысл этот в тебе, в их авторе. Если ты подписал бумагу о сотрудничестве, согласился быть сексотом – одно дело, а не согласился и, довольный собой, ушел – совсем другое. Если стучишь, значит, небезнадежен, не так закоренел во зле, как власть о тебе раньше думала.

Каждым словом своего доноса ты как бы свидетельствуешь, что исправление возможно, ты раскаялся и пролетарской власти больше не враг. Какое-то время тебя еще будут проверять, дураков нет, а потом, когда убедятся, что не лукавишь, сменят гнев на милость. Конечно, твоя вина была и никуда не делась, ты обязан ее искупить, а то всё чересчур просто: согрешил – покаялся. Но добрая воля налицо, значит, заслуживаешь снисхождения.

«Так было и со мной в Вологде, – говорил отец. – Если бы я не дал подписку о сотрудничестве, не писал каждую неделю отчет для опера, давно бы дошел на лесоповале. Лежал под кочкой на кладбищенском болоте. Как говорят: на ноге бирка, в голове дырка – бирка с лагерным номером, а дырка от ржавого гвоздя. Двухсотки, чтобы, значит, точно знать, что не придуриваешься, в самом деле покойник. Но я сотрудничал; и когда на лесоповале мне комлем расплющило руку, я по всем правилам на две недели был уложен в больничку. Там кое-как подлатали, но уже было ясно, что в лесу мне делать нечего, и тогда опер, который к твоему отцу, Галя, относился с сочувствием, не взял за труд, отправил досиживать в соседнюю инвалидную зону к своему приятелю – тоже оперу. В инвалидке и вовсе лафа, работа в прожарке. В общем, – говорил отец, – ты в себе разберись, реши, что хочешь, если чтобы у тебя отец был живой, тогда одно, а если требуется без страха и упрека – а живой, там, или труп – как получится, тут, конечно, другой коленкор».

Я, ясное дело, хотела, чтобы живой, ради этого всё бросила, приехала сюда, в Ухту. Да и без Ухты выбор был нетруден. Не забывайте, Глебушка, – продолжала Электра, – что папа Сережа, который, собственно говоря, меня и вырастил, был офицером НКВД, служил в органах почти полтора десятка лет. То есть я была дочь кадрового чекиста, привыкла, что и в школе и во дворе мне завидуют, а многие побаиваются – не только ребята, учителя тоже. К тому времени я уже была достаточно взрослой, и чтобы догадаться, что те замечательные фарфоровые куклы из Германии, что умели открывать и закрывать глаза, даже умели пропеть «Доброе утро» и «Спокойной ночи» – естественно, по-немецки, – папа Сережа дарил их мне на каждый день рождения, так же, как и еще одна игрушечная железная дорога с мостами и вокзалом, с депо, водокачкой и паровозом, кучей самых разных вагонов – скорых, обычных, пассажирских, грузовых, – ее недавно получил Зорик, – всё это приносилось нам из квартир разоблаченных, теперь говорят: незаконно репрессированных, врагов народа. После обыска и ареста квартиры, как и положено, опечатывали, но по негласному распоряжению начальства чекисты уровня папы Сережи при желании могли пломбу сорвать, вернуться в квартиру и, никому не докладывая, взять что приглянется.

Из разговоров, в частности маминых, я знала, что только нельзя зарываться: если вынесешь дом подчистую, по головке не погладят. Однако если день рождения, порадовать ребенка, подарить ему красивую игрушку – это святое, и жене если уже холодно, вот-вот ляжет снег, принести шубу, а в придачу к ней какую-нибудь побрякушку с хорошими камушками, тоже сам бог велел.

Так что я знала, из какого магазина папа Сережа носит моих замечательных кукол, каждой из которых я, будто крестная, давала имя; и вот у меня дома опять пополнение семейства – милая, очаровательная Глаша, в длинном платье из кисеи, которую я прямо с рук не спускаю, и что же с того, что папа Сережа сорвал пломбу с какой-то из квартир, вошел, выбрал мне подарок, затем вышел и снова опечатал дверь? Что изменилось и что тут плохого, разве тем, кто там жил, есть разница? Их, скорее всего, и на свете уже нет. В общем, ничейное, выморочное имущество, раньше оно принадлежало врагам народа, теперь же по справедливости тем, кто их разоблачил и покарал. Я была обыкновенной советской девочкой-комсомолкой, папу Сережу очень любила, гордилась им. Всякий раз, завидя его, любовалась, какой он ладный, какой статный и молодцеватый. Понятно, что никаких угрызений совести и быть не могло, этих его кукол, даже если они были обернуты в обыкновенную газету, я ждала и принимала с восторгом, а потом играла с ними до самозабвения.

В общем, и к папе Коле у меня претензий не было. Я в самом деле хотела одного – чтобы он и дальше был живой, про доносы же считала, что они не моего ума дело. Какие правила взрослые между собой установили, как договорились, так пускай и будет. Получается, что первые полтора месяца отцовское стукачество меня будто не касалось, а потом, когда я и не ждала, проблема встала во весь рост.

Однажды отец пожаловался, что опер его отчеты даже не читает. А он очень старается, пишет не только что от него ждут – то есть кто что сказал, но и дает общий анализ настроений, причем дробно по каждой группе. И молодежь, и рабочие, и интеллигенция. Всё это опер мог бы взять, а дальше, не добавляя ни слова, перегнать в собственную служебную записку. То есть он, отец, делает за него самую важную часть работы, но, похоже, впустую.

«Опер – человек благодушный, – говорил отец, – зла мне не желает, но как взглянет на мою тетрадку, тосковать начинает. Говорит: опять твои каля-маля. Ты-то хоть понимаешь, что пишешь? Мирно, даже с сочувствием, объясняет: сам

посуди, что? я с твоими отчетами буду делать? Вижу, ты человек хороший, честный, что у тебя рука покалечена, тоже вижу, но ты и меня пойми, ты же не один такой. Вы все километрами гоните. Прочитать – жизни не хватит. А тут еще твои каракули.

Будь у меня нормальный почерк, – мечтал отец, – опер, что я делаю, давно оценил, тогда бы и отношение другое. Можно было бы подойти и попросить позвонить в школу, сказать, что, если меня возьмут преподавать немецкий язык, никаких возражений с его, опера, стороны не последует». И этого, повторял отец, было бы достаточно. Потому что он сам уже трижды ходил к директору и тот всякий раз объясняет, что рад бы взять: вести немецкий некому, но насчет ссыльных есть строгий приказ РОНО, его так просто в сторону не отложишь”.

Всё, что говорил отец, показалось Гале разумным, она сразу представила и отца, и опера, который вертит в руках его письмена и никак не может понять, что? с ними делать, что? тут вообще написано: оттого, хотя уроков и было много, легко согласилась, сказала, что перебелит отчет. Начнет в четверг, чтобы до субботы наверняка успеть. Видно было, что отец очень благодарен, доволен ею, да и она радовалась не меньше его. Как обещала, так и начала. В четверг пришла из школы, поела и сразу села перебеливать. Боялась, что не сумеет разобрать отцовский почерк, но с этим как раз проблем не было. Хотя его правая рука, которую покалечило дерево, когда писал, сильно дрожала, привыкнуть оказалось несложно.

“В общем, – говорила Галина Николаевна, – всё выходило проще, чем я думала, я уже прикинула, что закончу работу еще в пятницу и не поздно, так что вечер будет свободным и мы с Наташей можем пойти в кино. Я переписывала, – продолжала она, – но в смысл не вчитывалась, правда, была удивлена, что ничего интересного в доносе, в сущности, и не было”. Разговоры рабочих, как она поняла – из отцовской бригады о нормах и расценках. “Каждый год, а то и чаще, – говорил какой-то В. Семенов, – нормы растут, а расценки падают, оттого денег домой мы приносим кот наплакал”. Они и другим были недовольны – оснасткой, станками. Хором ругали власть – тот же В. Семенов еще и грязно матерился, – которая зовет себя пролетарской, а с рабочим человеком обращается хуже, чем со скотиной. Отец старательно всё записывал. Короче, до середины тетради один завод.

И от этого, и оттого, что работа шла гладко, быстро, Галя не сразу заметила, что в отцовском доносе стали мелькать новые лица, причем первым ненадолго

появился Наташин отец. Вчера он уехал, но прежде неделю был в Ухте, и за шахматами они с отцом обсуждали его последнюю командировку. Отрывки их разговора Галя слышала, и теперь само собой выходило, что она сравнивает устную речь и письменную. Отец очень ценил точность; что память у него отличная, она знала, но здесь, в доносе, ему пришлось из пустяшного, по сути дела, разговора отжать воду. То есть слова были ровно те, что говорил Наташин отец, ни одно не прибавлено, но на бумагу их перенес прирожденный драматург, который, еще водя рукой, слышал, как каждое из них будет звучать.

В итоге, когда воду убрали, а в том, что осталось, правильно расставили ударения, важное выделили и подчеркнули, это больше не было брюзжанием двух немолодых, коротко знакомых людей, которые ничего нового друг от друга и не надеются услышать, – самая настоящая, самая взаправдашняя, перед ней лежала антисоветская агитация и пропаганда, причем запротоколированная по всем правилам следственного дела. Галя машинально прикинула, что, даже если повезет, подобный расклад тянет лет на десять – не меньше. Она подумала об этом спокойно, так же, как и о совершенно незнакомых ей заводских рабочих из отцовской бригады, пожалуй, лишь удивилась, как немного надо, чтобы фраза, да и вообще всё стало звучать по-другому; сюда же положила, что у отца несомненно талант, настоящий литературный дар, и только тут, представив, что Наташа снова одна, а ее отец где-то в тюрьме или на зоне и даже неизвестно, жив ли, заплакала.

Она плакала и представляла, что за Гарбузовым пришли, и другое представляла: как идет к Наташе и говорит ей об отцовской тетрадке. То есть получается, что идет к Наташе, чтобы предать, донести на родного отца. Отец загнал ее в угол, и она не знала, что делать. Конечно, Наташа была ее лучшей подругой, но сколько она ее знала? – не будет и трех месяцев. А тут отец, человек, без которого ее, Гали, на свете вообще бы не было, да и любит она его: как только вышел на поселение, бросила Москву, любимую школу и сразу к нему, сюда, в Ухту.

Что-то в происходящем было глубоко неправильное; уравнение, у которого нет решения. Раньше она жила с тем, что никого и ни под каким предлогом нельзя предавать, а здесь получалось, что предать так и так придется. И от этого, что ничего сделать невозможно, слёзы лились у нее и лились, текли сами собой. Конечно, говорила Галя, она теперь писала куда медленнее, но останавливаться не останавливалась, хотела быстрее закончить, разделаться с проклятым перебеливанием, решить, что она скажет Наташе, но не меньше и потому, что

хотела знать, что там дальше.

На тех страницах, которые – она видела – отцу особенно удались, где он сумел выпукло, емко и без каких-либо отговорок показать, что старший Гарбузов был и остался отщепенцем, закоренелым преступником, настоящим врагом народа, когда она понимала, что и для Наташи всё кончено, ее начинали душить слезы. Бросив ручку, она сидела, смотрела в окно и, пока не получалось взять себя в руки, представляла, что вот отец вернулся с работы, стоит в дверях, а она прямо перед его носом медленно, спокойно рвет донос. Всю тетрадку, страницу за страницей, всё, что к тому времени успела перебелить. Или как мать, когда отец однажды попытался выгнать Телегина из дома, бросается на него с кулаками. А то просто материт теми же словами, что в его собственном доносе заводские рабочие – Советскую власть. Но эти приступы были недолгими, через минуту-две Галя снова принималась переписывать.

Отец поставил ее вплотную к чему-то страшному, можно даже сказать, вдавил в него; конечно, о многом Галя и сама знала, но умела – у нее получалось – не замечать, а тут всё сложилось так, что мимо не пройти. Но еще больше она была потрясена тем, как легко слово обращается в арест, гибель человека. Или в бесконечно долгий лагерный срок. Снова не удержавшись, Галя сосчитала, что даже больший, чем она вообще прожила на свете, и тут, пока шел счет, в доносе вдруг появилась Наташа и как раз с тем, что она говорила ей, Гале, ровно неделю назад. Отец в своей тетрадке отметил и число, и даже то, что его дочь Галя повторила слова гарбузовской девочки с явным сочувствием, значит, была с ней согласна. Вечером за чаем она пересказала Наташины слова отцу. Пересказала и забыла, а отец, получается, нет.

Пока переписывала про Наташу, вспомнила разговор с одним из телегинских сослуживцев, поняла, что как раз об этом он ей и говорил. Телегин был простым человеком, а сослуживец учился в Тюбингене, два года посещал семинар самого Шпенглера и, хотя потом стал не философом, а чекистом, продолжал думать о смысле жизни. Как-то у них дома он с ней, двенадцатилетней девочкой, завел серьезную беседу.

Она за многим не успевала, но что схватывала, казалось ей справедливым. Умный, немало повидавший человек, он объяснял ей, что мы живем как живем, что-то слышим, что-то сами говорим, а через полчаса будто в воду кануло. О чем шла речь, и не вспомним. Получается как в пословице: что с возу упало, то пропало. Но ведь это не по-хозяйски, продолжал он, так всем можно

пробросаться, всё растерять. Вот бы, говорил он ей, учредить новое ведомство – Службу путевых обходчиков жизни. Вдоль каждой дороги тесно, частоколом расставить людей, которые что потерялось и сыщут, и подберут, а дальше отнесут куда надо, оставят нам на сбережение. Кто знает, что он имел в виду, разве поймешь, думала Галя, но, может, как раз отца и его еженедельные доносы оперу? Пока, продолжал бывший философ, от нас, если что и остается – только сделанное руками, а нужно, чтобы и сами мы остались такими, какими были, в точности такими, тогда и в Боге, и в воскресении не будет нужды.

“В общем, – рассказывала Галина Николаевна, – я даже обрадовалась, когда поняла, что отец пишет не только о никому не интересных работягах, но и о нас с Наташей. Совсем ясно представила огромные сводчатые погреба, однажды они открываются, и вот мы с Наташей туда входим. Заметьте, Глеб, ни она, ни я никогда не вели дневника, часто жаловались друг другу, что себя не помним – напор жизни такой, что всё смывает. Как и положено в любом архивохранилище, заполняем читательские карточки – и она, и я пишем свое имя, отчество, фамилию, добавляем год и места рождения – страна большая, людей миллионы, есть и полные тезки, а каждому нужна своя собственная жизнь. Через час приносят толстенные папки. Записи чуть не с детского садика. И школа, и институт, и работа. На равных с работой, конечно, дом и друзья. И всё честно, объективно, потому что глаз много и они разные. Опять же не куплено и не подтасовано. Словом, ты как на ладони”.

Галина Николаевна рассказывала, что, когда она это себе представила, отложила ручку и стала думать, что сам человек себя почти и не понимает. Даже если поклянется, верить ему нельзя. Мы к себе слишком пристрастны, кто-то любит себя до изнеможения, а другой утром в зеркало на свое лицо глянет – и ему жить не хочется.

“Я тогда сидела и думала, что ведь тут и есть настоящая справедливость, опять же и равенство, что к каждому из нас, будто мы «сильные во Израиле», кто-то приставлен, ходит день-деньской и всё записывает. И другое – хорошо, что кто он, мы не знаем. Так один бы засмущался, мол, зачем это, я же человек маленький, второй, наоборот, начал бы работать на публику. Плохо, конечно, и то и то.

Я так своими рассуждениями увлеклась, что забыла, что переписываю как раз те страницы, где отец пишет про меня и про Наташу. Прежде даже испугалась, а что, если он обо мне больше ни слова не скажет? или забудет, или решит

утаить? Но отец всё помнил, и через страницу повторил, что его дочь Галя в политических вопросах не просто с Наташей согласна, но и думает, как она.

К идущему ниже это оказалось хорошей подводкой. Потому что, засвидетельствовав перед опером, что говорит правду, только правду и всю правду, отец получал право перейти к очень важному для него общему заключению. Повторив, что ему стало известно обо мне и Наташе, отец делал хоть и честный, но вполне печальный вывод.

Он писал оперу: «Вам, как и мне, ясно, что молодежь – наше будущее. Однако то поколение, что вот-вот вступит во взрослую жизнь, не может не тревожить. Для самоуспокоения нет оснований. Что школа, что комсомол явно недорабатывают. Лично я, отец шестнадцатилетней Гали, очень сомневаюсь, что из моей дочери, на равных из ее ближайшей подруги, тоже шестнадцатилетней Наташи Гарбузовой, получатся люди, по-настоящему верные делу партии, деятельные, преданные строители коммунизма»”.

“Я закончила работу, – продолжала Галина Николаевна, – прямо перед тем, как отец, отработав свое на заводе, вернулся домой. Вид у меня был, прямо скажем, не фонтан – от бесконечной переписки под глазами в пол-лица синяки, вдобавок зареванная до последней степени. Войдя в комнату, он сразу всё понял, однако к моей истерике отнесся холодно, только бросил: «Думать надо, когда рот разеваешь», – и пошел на кухню разогреть чай”.

“А что дальше?” – спросил я.

“Дальше, – повторила Галина Николаевна, – то есть на следующий день мы снова сидели с Наташей за одной партой. Правда, когда возвращались из школы и она опять заговорила о политике, я ее обрезала, повторила то же, что мне отец сказал: «Прежде думать надо, а не рот разевать». Получилось, что первый раз ее обхамила. Но она будто не заметила, хотя тему сменила, стала говорить о кроликах, которых наш класс выращивал. И еще был один разговор, на сей раз с отцом.

Через пару дней вечером, я уже легла, он сел ко мне на постель и говорит: «Мы с Гарбузовым не зря контровую играем, то, что я о себе от опера слышал, кроме Наташиного отца никто знать не мог. Так что у нас паритет». Если же вы, Глеб, – продолжала Электра, – о самих доносах спрашиваете, то я их переписывала

четыре месяца, общим счетом шестнадцать тетрадок. Потом учебный год кончился и я уехала обратно в Москву. Оперу мои доносы нравились, и к маю отец преподавал в школе свой любимый немецкий язык. Буквально светился. Да и вообще был в хорошей форме. С тем, каким я его застала, сравнить нельзя”.

В другой раз, опять же за чаем: “Если первый, «мамин» роман, то есть «Агамемнон», – рассказывала Электра, – в общем и целом выстроен вокруг рукописи некоего Гавриила Мясникова, то второй, в сущности, отцовская биография. История его скитаний по России без и вместе с Лидией Беспаловой, когда-то нареченной ему в невесты, позже – венчанной в церкви женой. Я уже говорила, что ее, Глебушка, мы помянем еще не раз, – сказала Электра и снова возвратилась к отцу. – Монах-странник, которого бог весть кто пригласит к столу, даст ночлег, и он идет дальше. Часто его просто передают с рук на руки или говорят: тебе, святой человек, надо ехать на такую-то станцию, найти вот эту женщину. Она человек хороший, богобоязненный, понимает, как при нынешней антихристовой власти вам, нашим молитвенникам, приходится нелегко, и не откажет, будешь у нее жить как у Христа за пазухой. Подряд, Глеб, как я вам уже говорила, текст второго романа никогда написан не был, но основные узловые куски отец закончил. Отец всегда, – сказала Электра, – писал опорные главы, затем дописывал связки между ними, так что было понятно, куда всё пойдет. Для меня нового было немного, дело в том, что те шесть месяцев, что прожила с отцом в ухтинской ссылке, я помнила очень хорошо.

Я уже говорила, что отношения у нас были сложные. Раз в неделю, по субботам, отец должен был класть на стол оперуполномоченного, который им ведал, подробный отчет о настроениях среди ссыльных, о разговорах, которые они ведут между собой, о том, что говорят в инструментальном цехе на заводе, где отец работал слесарем-расточником.

Отец был очень аккуратный человек, то, что потом попадало в отчет, он записывал каждый день, то есть, кто и что при нем сказал, писал по возможности по свежим следам, и уж в крайнем случае перед тем, как шел спать. Как другие на сон грядущий чистят зубы, так он всё записывал, иначе не получалось ничего не забыть, вспомнить каждую деталь и подробность, что его оперуполномоченный очень ценил. В итоге в райотделе НКВД по Ухте отец был на хорошем счету. До среды отец, что слышал, записывал, для чего у него была специальная записная книжечка. Кончалась одна, покупал другую. А с утра четверга начинал сводить записи. Чтобы оперу с тем, что он ему носит, было

удобно работать, отец не просто писал, где кто и что сказал, да по какому поводу, но и, как я, Глебушка, говорила, – продолжала Электра, – пытался делать выводы. Например: больше становится антисоветских настроений и где – среди заводских рабочих или среди ссыльных, которые жили рядом с нами. Он неплохо разбирался в обществоведении, поэтому, если удавалось, дробил по полу, возрасту и семейному положению. То есть, в сущности, носил даже не доносы, а готовые аналитические отчеты, которые сам опер должен был раз в две недели сдавать уже своему начальству.

С четверга отец всё сводил, а я, как вам, Глеб, рассказывала, страница за страницей перебеливала. Ясно, что эта работа мне не нравилась, переписывать доносы, которые губят мою лучшую подругу, а ее отца отправляют на новый срок в лагерь, пусть правда, что и у самого Гарбузова рыльце в пушку, – удовольствие маленькое. Но для отца – пойдут его доносы, что называется, «на ура», или не пойдут, было чрезвычайно важно, и он был неумолим. В тех случаях, когда ничем важным порадовать опера отец не мог, дома был полный мрак, а в другой раз, когда мог, из него буквально бил какой-то веселый кураж, не поддаться ему у меня не получалось.

И вот с вечера четверга и весь вечер пятницы я переписывала. Суббота тоже была неспокойным днем. Как бы ни был хорош отчет, отец нервничал, что оперу не понравится, что он опять начнет материться, кричать, что отец много на себя берет: графики и диаграммы не его собачье дело. От него ждут только фактов, конкретно кто, что и при каких обстоятельствах сказал, а выводы будет делать уже он, опер. Но, как правило, опер отца хвалил, говорил, что он его лучший осведомитель. Что, когда на летучке сравнивают, кто как работает со своими стукачами, благодаря отцу он, опер, в тройке лучших”.

В общем, воскресенье было и для Электры, и для отца самым светлым днем. Ей еще не скоро садиться переписывать новый отцовский донос, ему еще не скоро его писать, в обоих какая-то замечательная свобода, будто твоя душа открыта, всё там проверено клеточка за клеточкой и всё найдено чистым и непорочным. Если и были грехи, ты в них покаялся, получил отпущение, и всё хорошо так, как только возможно.

Если погода была сносная, по воскресеньям они много гуляли, и отец рассказывал ей о собственном детстве, о том, как они жили до революции. Она любила слушать про своих бабушек и дедушек, никого из них она не знала, о другой родне. Ее было много, священнические семьи многолюдны, на семейных

торжествах, когда объявлялся полный сбор, бывало и по двести человек. Если погода была плохая, они с отцом оставались дома, на примус ставился большой чайник и, пока он закипал, и потом, когда они пили чай с баранками, он не чинясь рассказывал ей обо всем, о чем она спрашивала. Больше другого она любила слушать о его кочевьях странствующего монаха. Там была бездна невозможных приключений, побеги перемежались изысканными мошенничествами, аресты – чудесным спасением.

Больше всего он, конечно, рассказывал о Лидии Беспаловой, которую несомненно любил, о том, как она подобрала его на станции Пермь-Сортировочная уже околевшего от холода, отволокла к себе в сторожку и там отогрела. Узнать друг друга у них не было ни малейшей возможности, и только через несколько дней, а то и неделю они шаг за шагом стали понимать: он – что спасла его не просто монахиня, а когда-то его нареченная невеста Лидия Беспалова, а Лидия – что она спасла своего жениха Николая Жестовского. Что они поняли и приняли это как знак свыше, да и трудно было понять это иначе, и через полтора года он, как еще в восемнадцатом году мечтали их родители, повел Лидию под венец.

Уже когда Электра ложилась в постель, отец садился рядом на кровать и самые ее любимые истории рассказывал по второму кругу, что называется, “на посошок”. А вот чего она не любила, это когда он начинал рассказывать о ее собственном детстве и о матери. Здесь было больше нехорошего, стыдного, и она не столько его слушала, сколько огорчалась, обижалась за отца, винила мать, что она так несправедливо плохо с ним обходилась.

28 ноября 1982 г.

К воркутинским рассказам отца Электра и потом не раз еще возвращалась, говорила: “Воскресные дни у нас в Воркуте, как правило, были хорошие. Они и давали силы перетерпеть остальную неделю. Я уже говорила, что не любила, когда отец вспоминал, как мы жили, когда я была маленькой, и позже, когда пошла в школу. Хотя рассказы были благостные, он вообще обо всех, часто даже о маме, говорил мягко, с пониманием и сочувствием.

Я, конечно, помнила по-другому. Ведь это были как раз те годы, когда отца бесконечно обижали, бросали без жалости и снисхождения, вдобавок объявляя, что я и Зорик не его дети, то есть отнимали последнее. По моим представлениям, мать вела себя так, что отец даже не мог себе сказать, что вот, до того как появился Телегин, всё было нормально: я и жена любили друг друга, она родила мне двух прелестных и умных детей, а потом всё разладилось. Но разве у меня одного разладилось? Подобное случается сплошь и рядом. А тут мать неизвестно зачем во всеуслышание объявляет, что всегда было плохо, что ему не вспомнить за семь лет ни одного дня, когда и вправду было хорошо. И даже когда он думал, что хорошо, на самом деле было исключительно плохо. Просто она не хотела говорить.

А вообще-то и дети, которым он так радовался, были не его, и она его никогда не любила, спала с ним, потому что деться было некуда, вдобавок изменяла с каждым встречным и поперечным. Как увидела, что уйти есть куда, немедленно ушла. Прибавьте, что человек, к которому она ушла, и есть настоящий отец ее детей. Просто раньше он был ее любовником, а теперь понял и она поняла, что ни с кем другим ни ей, ни ему лучше не будет, вот и решили жить вместе.

От этого было не спрятаться, и любые попытки отца сделать вид, что всё было как у всех, Галю буквально бесили. Но другое ей было по-настоящему интересно, вместе с его доносами стало школой жизни – я говорю о многолетних скитаниях отца: сначала – странствующим монахом, позже – под именем великого князя Михаила Романова.

Его встреча и брак с Лидией Беспаловой, то, как он скрывался от НКВД, потом суд над ним и Лидией, их с Лидией ребенок и его смерть в лагере – и одно, и второе, и третье Галя слушала как, хоть и страшный, бесконечно трагический, но и тут же совершенно авантюрный роман. Отец был его главным героем, но куда важнее, совсем не похож на того, каким она его знала, когда он жил с матерью. Было ясно, что мать, даже когда по внешности они жили мирно, ломала его через колено или так давила, что было не продохнуть. А здесь его будто отпустили.

Он много разного рассказывал, причем иногда вещи, которые поначалу, наверное, и не собирался. О чем-то заговорит, увлечется, а когда спохватится – уже поздно. Он вообще был рад ей угодить и сам от их воскресных посиделок ловил редкое удовольствие, ценил их сверх всякой меры. Однажды он стал рассказывать, как в тридцать третьем году они, семейство Романовых, все

вместе прожили почти полгода в Курганской области. Там было много людей, готовых им помогать, передававших их с рук на руки.

Несколько раз они встречались и без посторонних, беседовали о житье-бытье, о нынешнем времени и о прошлом. Отец рассказывал, что очень переживал, что в их компании всё было так, будто Николай II ни за себя, ни за сына никогда не отрекался от престола в его, великого князя Михаила, пользу. Когда он ездил один с Лидией, было, конечно, по-другому, а тут и люди, дававшие им приют, держались точки зрения, что он, Михаил, был одной из колонн, которыми революция наступала на Россию, зримым свидетельством насилия, которому Николай II и его сын были вынуждены уступить.

В общем, они относились к нему хуже, чем могли, во время застолий (а случались и настоящие пиры) сажали на куда менее почетное место, чем Николая и Алексея; также и куски, что клались отцу на тарелку, ясно говорили: уход Николая с престола, передачу прав ему, великому князю Михаилу, никто из присутствующих принять не готов. Они ждут, что он перестанет опять и опять ссылаться на Учредительное собрание, которое и должно решить, законный он царь или нет. Здесь и сейчас отречется от царской власти, во всеуслышание заявит, что о том, чтобы он, Михаил, занял трон, не может быть и речи. Подобное против законов и правил. Кстати, это самое Учредительное собрание – прямое оскорбление Николая II; ведь получается, что царь не может передать престол кому хочет и когда хочет. А как же указ Петра I о престолонаследии, говорил, например, местный священник отец Григорий Кобрин?

“Вообще, – рассказывала Электра, – моего отца и тут много обижали. Но так, один на один оставаться с другими Романовыми он в общем любил. Они выпивали, говорили обо всем вполне откровенно. И многое отцу было интересно. Конечно, объяснял он, назвать их цветом нации трудно, не ахти какие умные, как правило, мало образованные: Николай II – счетовод с завода Михельсона в Твери; царевич Алексей – сначала плотник, потом, как и сам Жестовский, монах, и вот теперь царевич”.

Они много рассказывали ему о других Романовых, в частности, о нескольких великих князьях Михаилах, и, как поняла Электра, хотя один другого сменял довольно часто, субординация сохранялась. Впрочем, случались персонажи такой яркости, что, как бы и не заметив, перетягивали одеяло на себя, другие, наоборот, легко отступали в тень.

“Один из Михаилов – отец и раньше уже мне о нем рассказывал, – говорила Электра, – прежде был комсомольским работником, хотя и не великого уровня. Он очень любил мальчиков, на чем раз за разом горел. Добрый, веселый человек, он бесконечно скитался, но родом был с Алтая, из-под Бийска. С женщинами иметь дело этот великий князь тоже не отказывался; царевич Алексей вспоминал, что года два с ним прокочевала молоденькая монашка, которую он выдавал за сестру, но предпочитал великий князь все-таки мальчиков, их у него была целая свита – как правило, трое, а то и четверо. Михаил звал их «пажами», из-за одного из них он и сел. Все как под копирку. Из дома, где остановился, он увел очень хорошенького подростка лет тринадцати от роду. Дальше – мать и милиция. В итоге Михаил Романов пошел по уголовной статье. Получил три года, но провел на зоне лишь два. Освободился, снова промелькнул с гастролью по тем же местам на Урале и сгинул, уже окончательно.

Алексей сказал, и Николай II согласился с сыном, что Михаил, о котором идет речь, много собирал, ему охотно жертвовали, и вообще он любил радости жизни, очень к себе располагал. При первой возможности устраивал шумные попойки, на которых его пажи разливали вино, разносили кушанья. И эту радость ему прощали, хотя от других требовали скорби. А как же иначе? Ведь тебя лишили законного, доставшегося от прародителей царства. Да и страна, которая под тобой была Святой землей, теперь предалась антихристу, тонет во зле.

Но в Михаиле был кураж, он будто не сомневался, что со многим можно совладать и справиться. И большевиков можно победить, и сатану, причем победа будет одержана в самое короткое время. И ему верили, давали деньги на эту победу, хотя единственное, что он обещал, что они смогут прокатиться вместе с ним на «Роллс-Ройсе» по снова императорскому Петербургу, да что когда в Зимнем дворце будут давать пиры, всех их обязательно позовет к себе, примет как дорогих гостей, посадит на самые почетные места и станет потчевать из своих рук.

Он и из-за этой любви к шумным и многолюдным пьянкам тоже часто попадал в милицию, что опять же принимал спокойно. «И вправду, с него будто с гуся вода, – сказал Николай, – отсидит несколько суток за мелкое хулиганство, а дальше – поминай как звали. – И продолжал: – В общем-то, знающие люди не сомневались, что он на крючке и стучит на всех, у кого живет». Но их не слушали.

В нем было столько обаяния, что даже скрытные, осторожные теряли бдительность. Объясняли какую- то чушь, что он себе не враг, что он умен и смел, оттого с легкостью водит чекистов за нос. Водил и дальше будет водить. Что он удачлив, вдобавок Бог над ним надзирает, помогает буквально проходить сквозь стены. А главное, что ушлость, которая дана ему от природы, когда-нибудь приведет его на престол”.

“Тут было некоторое сходство с самим отцом, правда, если исключить мальчиков, – говорила Электра, – оттого он рассказывает, рассказывает и вдруг пугается, что я это как-то не так пойму, спешит сменить тему. Но я делала вид, что никакой связи не нахожу, и он, пару раз бросив подозрительные взгляды, возвращался, продолжал рассказывать.

Конечно, разница была. Тот, другой Михаил был просто веселый, нагловатый, однако явно располагающий к себе человек. Он трезво смотрел на вещи, умел пользоваться обстоятельствами, оттого по возможности ни в чем себе не отказывал, но и что фарт кончился, принимал спокойно, ведь хорошее когда-нибудь да кончается. И раз теперь он в ментовке, надо вести себя тихо, иначе сгоришь не за грош. Похоже, он верил, что и другие живут по тем же принципам, все не просто так его принимают, дают деньги, терпят его пажей и попойки, у каждого свой расчет, и если, не дай бог, его однажды заметут по-крупному, глупо не рассказать чекистам, что их интересует. Он был рубаха-парень, любил жизнь, но видел, что нашим миром владеют какие-то странные идеи и еще более странные надежды.

«Сам он был свободен и от того, и от другого. Скажу больше, – говорил отец, – наши идеи казались ему своего рода помешательством, но было ясно: если у тебя есть способности, их можно неплохо использовать. У него способности были». Он легко принимал любые обличья, от великого князя Михаила и истинно-православного монаха до убежденного комсомольца и преданного секретного агента, который если и притворялся монархистом, то единственно для того, чтобы внедриться, всё досконально узнать и помочь органам разоблачить врагов советской власти.

Когда ему ставили на вид, что почти год не выходил на связь, Михаил не задумываясь объяснял, что если бы, как положено, каждую неделю ходил к оперу, его давно вычислили и ничего ценного он бы на хвосте не принес, а так – целый короб. «В нем, – говорил отец, – была правильная безмятежность и полное отсутствие страха, наоборот, доверие и благорасположение, и чекисты,

поразмышляв, до поры до времени его прощали»”.

Рассказы об отце – странствующем монахе, о его отношениях с Лидией всю их историю, начиная с московской помолвки и дальше – эмиграция родителей, Крым и станция Пермь-Сортировочная, где она его – уже не человека, а кусок льда – нашла, подобрала и отогрела, – Электра была готова слушать и слушать. Их любовь, их совместные скитания и, наконец, как хотели еще родители, венчание в заброшенной придорожной часовне. Даже то, что ребенок Лидии так ужасно погиб, а Лидию в тридцать шестом году расстреляли, не смущало ее. Электра говорила, что всё равно было ясно: это та судьба, которая была предназначена и Лидии, и отцу, отношения же отца с матерью – простая случайность. Их свел Тротт и его мастерская. Они сошлись, потому что оба не знали, что делать, а дальше мучились сами и мучили друг друга.

В воркутинских рассказах отца Гале была интересна любая мелочь, любая подробность. Не только как отца и других Романовых рассаживали во время застолий и как священник Кобрин выреза?л ему из жести ордена и нашивал на обычный коверкотовый костюм мишуру, превращая его в обмундирование кавалергарда. Или как, приезжая в незнакомый город, они заказывали молебен не за упокой, а за здравие, и сразу же в приходе делалось известно, что царь жив, еще не всё потеряно.

Электре надо было знать, как шло следствие и как держалась Лидия и он сам, какие показания дал император Николай II, что вменялось в вину царевичу Алексею. Наконец, чем вся история закончилась для священника Кобрина? И что сделали с теми, кто давал им прибежище? Как он и Лидия находили своих? Кто давал адреса, где можно остановиться на ночлег, где накормят, а может, удастся разжиться и деньгами? И отец видел, что дочь была бы рада, если бы у него была только эта жизнь: без мамы, без Телегина. И сам, заново вспоминая, рассказывая, пробуя на язык, думал, что, может, она и права: вот его настоящая жизнь, а в то, что было у них с мамой, ни ей, ни ему мешаться не стоило. Но долго так думать не удавалось, ведь, сколько себя ни обманывай, он любил якутку, скучал по ней, особенно теперь, когда давно был один и ни Лидии, ни ее ребенка уже не было на свете.

Когда Жестовский в шестьдесят первом году начал писать свой второй роман, в центре которого как раз были отношения с Лидией Беспаловой, и главу за главой стал возить его из Зарайска, Электра поначалу приняла его с энтузиазмом. Каждая глава, которую он вынимал из портфеля, тут же поступала

на конвейер. Галя ее в самом аккуратном виде переписывала и несла на первый этаж, где жила ее подруга-машинистка. И теперь уже та, отложив в сторону другую работу, перестукивала новую главу. То есть на первых порах всё и во всех отношениях было хорошо, но довольно скоро Электра увидела, что роман ей не нравится. И тут ничего нельзя было поделать.

Конечно, ей не так неприятно было его переписывать, как двадцать лет назад доносы, но радости работа тоже не доставляла. То, что отец рассказывал ей в Ухте, она и сейчас отлично помнила, могла восстановить до детали, но когда видела на бумаге, у нее было ощущение, что отец многие эпизоды или забыл, или они стали ему безразличны. Пропуск шел за пропуском, причем выкидывались куски, без которых сюжет неизбежно рвался. Зато появилась бездна необязательных любовных сцен. В Ухте отец по понятным причинам подобные сюжеты обходил стороной, в худшем случае, касался мимоходом. Здесь же всего этого сделалось с перебором и слишком “в лоб”.

Например, вторую главу он прямо начал с того, что из-за туберкулеза Лидия была ненасытна. Летом и ранней осенью еще как-то удавалось устраиваться, а так их могли застукать бог знает где. То в птичнике, среди возмущенных вторжением кудахчущих кур, то на сеновале. Однажды, не найдя лучшего места, он посадил ее на забор в глубине сада, за кустами малины. Плетень под Лидией ходил ходуном и в самый ответственный момент с треском рухнул. Лидия ударилась несильно, скорее испугалась, но главное другое: хозяева и их гости, решив, что стряслось что-то серьезное, гуртом высыпали на крыльцо.

Обычно Жестовский и Лидия вместе со всеми сидели за столом, ели, выпивали, а потом Лидия, которой, что называется, делалось невмоготу, передавала ему записку. Отказать отец не смел. Под благовидным предлогом они вставали и уходили. Дальше их могли застать где угодно. То они прятались за выступом дома – с улицы место отлично просматривалось. В другой раз забрались на крышу маленькой баньки, где Лидия стояла, держась за железную трубу, а он, в свою очередь, делая свое дело, держался уже за Лидию. Но в итоге тут вышло как с забором. Поначалу всё вроде было неплохо, но дальше принялся накрапывать дождик. Дранка стала скользкой, ноги у отца поехали, и он скатился вниз. Слава богу, падать было невысоко, и он отделался одними ушибами.

Еще отец жаловался в романе, повторял как рефрен, что Лидия очень громко кричала и он был вынужден затыкать ей рот то подушкой, то просто рукой.

Вдобавок, ничего не соображая, она так мотала головой, что он вечно ходил с синяком под глазом. Отец писал, что про нрав Лидии их хозяевам было отлично известно, и что, когда они, извинившись, вместе вставали, за столом понимающе переглядывались, отчего ему – Лидии нет – делалось стыдно.

Зная ее страстность, их обычно селили порознь, да и вообще старались не оставлять в комнате одних. Где бы ни был накрыт стол, на ночь Жестовского, как правило, уводила одна хозяйка, а Лидию другая. Лидия была готова на любые хитрости, только бы остаться с ним под одной крышей, но пока их не обвенчали, везло ей нечасто.

“Впрочем, иногда везло, – рассказывала Электра. – Я переписала, а Клара перепечатала сцену, в которой под Уфалеем, в Стрешнево, у игуменьи Варвары Прохоровой отец с Лидией, полуголые, лежат вместе на хозяйской кровати. Заглянув в дверь, их видит кто-то из знакомых игуменьи. А дальше – отец это сам слышал – говорит хозяйке: «Гони их в шею, какие они на хрен князья! Ясное дело, жулье!» – Но игуменья за отца и Лидию вступилась, стала кричать, что в доме холодно, печь уже сутки не топлена и они лежат вместе только для того, чтобы согреть друг друга своими телами. А если он считает, что это оскорбляет святость ее кельи, тогда она просит его, чтобы больше он к ней ни ногой”.

Но стоило им перед священником поклясться друг другу в вечной верности, проблема сразу разрешилась. И дальше вплоть до ареста они жили тихо и спокойно.

Электра говорила, что Жестовский, конечно, понимал, что такие подробности про своего отца и его любовницу ей, Электре, что читать, что переписывать – неприятно. Впрочем, говорила Электра, выхода у него не было: мать на подобную работу тем более бы не согласилась.

“Но дело не только в том, – говорила Электра, – что отец себя выворачивал наизнанку; как на прилавке, выкладывал довольно неприглядные подробности их с Лидией жизни. Куда сильнее меня обидело другое. Я привыкла считать, – продолжала она, – ухтинские рассказы своей собственностью, платой, которую получала за бесконечные страницы отцовских доносов, которые каждую неделю переписывала. А тут выходило, что это будет принадлежать всем, не сегодня-завтра пойдет по рукам”.

Конечно, в Ухте отец рассказывал Электре не только про Лидию. Как-то он вдруг заговорил о Тротте. Сказал, что художник, в мастерской которого они жили, барон и эстет, много лет провел в Японии и ото всего тамошнего был в восторге. Как потомка одной из самых знатных ливонских фамилий, его восхищали японская сдержанность и самурайский кодекс чести. Он даже считал, что знает многие его тонкости и нюансы. Эстет в нем, как и сами японцы, готов был часами любоваться заснеженной вершиной Фудзиямы, цветущей вишней или замшелым камнем при дороге. Немцу нравилась регламентация всего и вся, от обычной жизни до театра кабуки или поведения гейши. Страна существовала по определенным, до запятой соблюдаемым правилам, что он опять же одобрял. Тротт был способен к языкам и быстро выучил японский, причем не только разговорный. Легко, даже с лихостью он рисовал самые сложные японские иероглифы, что, понятно, было большой редкостью, всех удивляло. В общем, он бы, наверное, прижился в Японии, но, к собственному удивлению, с каждым годом ему всё сильнее не хватало того, о чем ни в Москве, ни в Петербурге он почти не вспоминал.

Японская вера, переплетя культ императора с буддизмом, была, слов нет, красива, однако уж слишком холодна, и Тротт тосковал по тем странным отношениям между Богом и человеком, в которых не раз пытался разобраться. В Киото была православная миссия и церковь при ней, был хороший, добрый батюшка отец Николай, но на японской почве и литургия и причастие гляделись заморской диковинкой, Тротт это чувствовал, оттого печалился еще больше. Всё же довольно долго он колебался, ни на что не мог решиться. Определился лишь к январю шестого года. И через три месяца, закончив дела, с кем мог попрощавшись, сел на пароход, который через неделю должен был доставить его прямо во Владивостокский порт.

“Ясно, что расставание с Японией далось Тротту нелегко, – рассказывал Жестовский, – и с собой в Россию он взял только карликовое деревце Бонсай, когда-то купленное на рынке в Киото. Про остальное свое имущество решил, что по крови оно японское и везти его в Россию будет неправильно. Что-то раздарил друзьям и знакомым, другое роздал соседям, оставил себе только кисточки для туши, наборы красок и пигментов, доски, которые сам резал, и несколько сделанных работ, в числе их небольшую серию гравюр с пляшущими гейшами. Но и это из Японии не уехало, просто было сдано в камеру хранения на железнодорожном вокзале. Деревце уже на корабле он кому-то представил как своего единственного друга, и с тех пор иначе о нем не думал. Тем более что всю дорогу до Владивостока Бонсай цвел мелкими бледно-розовыми цветочками, будто хотел порадовать Тротта и утешить. Но во Владивостоке Бонсаю пришлось

нелегко. На рейд они встали в отвратительный день, с залива, несмотря на апрель, дул ледяной ветер, даже в каюте бесконечно сквозило и, пока Тротт добрался до берега и потом, когда ехал на извозчике в гостиницу, деревце буквально околевало от холода. Немудрено, что на следующий день оно заболело: цветы осыпались, следом опала и листва.

Три месяца деревце простояло мертвым, Тротт не решался его выбросить, когда кто-то – дело было уже в Омске, – услышав, как он горюет о своем Бонсае, вдруг сказал, что если карликовое деревце на несколько дней по самую макушку опустить в холодную воду, есть шанс, что она пропитает поры и деревце оживет. Тротт послушался, купил в жестяной лавке большой бак, залил его до краев водой и вдруг уверился, что деревце и вправду возродится, если он не просто продержит его так три дня, а еще и окрестит.

Он понимал, что Богу здесь что-то может не понравиться, и решил предварительно с Ним переговорить. Сказал, что да, он знает, что у него нет священнического сана и, значит, крестить он тоже не имеет права, нет у него и святых даров, необходимых для таинства. Вдобавок карликовое деревце не человек, его, может быть, вообще нельзя крестить. «Но, – убеждал он Христа, – ведь та вера, с которой Ты пришел в мир, есть вера попрания смерти, вера спасения и воскресения. Я знаю, – говорил Тротт, – что Ты и раньше часто бывал мной недоволен, как мог пытался мне это объяснить. Но если Ты спасешь Бонсая, если он действительно воскреснет, возродится из мертвых, славя Тебя, снова покроется листиками и цветочками, я пойму, что не зря вернулся из Японии».

Ближе к вечеру он для убедительности повторил то же самое, но немного по-другому, сказал Ему: «Господи, если Ты можешь воскресить и спасти злого, греховного человека, если Тебе это по силам, неправильно отказываться от воскрешения маленького безобидного, как ни посмотри, невинного деревца».

Судя по всему, Бог Тротта послушался, потому что спустя месяц Бонсай снова покрылся мелкими бледно-розовыми цветочками. Причем цвел так пышно, как никогда раньше. Почему-то Тротт понимал, что цветение Бонсая прощальное, деревце скоро умрет: в сибирском климате ему не выжить, и тем не менее говорил мне, что радовался как дитя, знал, что теперь они с Богом простили друг друга. Тротт объяснял мне, – рассказывал Жестовский, – что он тогда думал, что разобрался, что может делать, а что нет, и считал, что, пока будет уважать эти свои границы, Господь его не оставит. Что касается деревца, то,

когда оно окончательно засохло, Тротт собственноручно выточил из его ствола крест, прикопал его той же родной землей, которую в горшке вывез из Японии, и так, сделав из Бонсая памятник самому себе, поместил его в настоящий склеп. Под мавзолей сошла старинная газовая лампа, очень красивая, вся оправленная позеленевшей медью. Когда мы жили у него, – закончил Жестовский, – она стояла в самом светлом месте мастерской, на полочке между двумя окнами”.

“В другое воскресенье, – рассказывала Электра, – отец снова начал с того, что, уже будучи великим князем Михаилом, несколько раз попадал в очень неприятные ситуации: «Спасало то, что чекисты не очень знали, кого ищут, и мне удавалось отговориться. Документы-то у меня были на совсем другое имя, на Жестовского, я их восстановил»”.

Он любил вспоминать дома?, в которых ему с Лидией желали счастливого царствования, пили за него и ждали очереди, чтобы пожать руку; все-таки, наверное, то время и вправду было самым счастливым в его жизни.

“Я уже тебе говорил, – рассказывал он Гале в Ухте, – что у Лидии был туберкулез; что она может забеременеть, мне и в голову не приходило, потому мы думали, что если кому и надо предохраняться, то мне от ее болезни”. И тут же снова стал вспоминать, что, скитаясь, они встречали разных Романовых, иногда собирались чуть ли не всей семьей: и император Николай, и царевич Алексей, и его сёстры-княжны. Потом снова расходились, но кочевали по одним и тем же адресам, и скоро с кем-то из них судьба опять сводила.

“Лидию те, кто нас принимал, держали за великую княжну Лидию Владимировну. И хотя они смотрели на нашу связь без одобрения, но мешать не мешали, что нас вполне устраивало. Лидия, – рассказывал отец Электре, – была человеком ярким, взбалмошным и, может, из-за туберкулеза всегда немного на взводе, всегда возбуждена. Она знала, что жить ей осталось недолго, оттого и чувство жизни такое острое, какого я больше ни в ком не встречал. Возможно, в ней было что-то похожее на маму, только у мамы острота шла от здоровья и избытка сил, а в Лидии всё было непрочно, и от слабости ежесекундно менялось. Когда она забеременела, ни она сама, ни я не могли в это поверить, у нее и месячных настоящих не было, так – от случая к случаю день-два помажется. Но она вы?носила и, уже арестованная, в тюрьме родила. Потом ничего не писала, я даже письма? не мог отправить, не зная, где ее лагерь.

Да и чем я мог ей помочь? Сам тогда сидел в тюрьме. А дальше, когда мы с ней друг друга нашли, она написала, что, хоть и молилась, наш ребенок родился немного убогий ножкой, а еще через восемь месяцев, что он умер в «маменькином бараке». Написала, как он умирал, как отвернулся от нее, больше не хотел брать грудь, – это письмо было страшно, и я уже тогда понимал, что больше Лидии не увижу.

Не зная, что делать, послал письмо Телегину, умолял о помощи, но оно попало к якутке, и она мне ответила, что никто моей Лидии помогать не станет и чтобы я их по таким вопросам не беспокоил. Я ее не виню, – говорил отец, – объясняю себе, что она меня ревновала, со мной ли, без меня – считала, что я навечно как бы ее собственность. И что неважно, есть ребенок или нет, эту мою связь на стороне она расценила как измену. В общем, до Телегина мое письмо не дошло. Но и дойди, не убежден, что он стал бы ввязываться. Якутка права: подставлять себя на ровном месте мало кто захочет.

Между тем, когда стало ясно, что Лидия беременна, все без обиняков стали нам объяснять, что мы живем в блуде, в грехе и только позорим свое царское происхождение. Я однажды сдуру брякнул, что рад бы жениться, да по церковным законам нельзя – ведь мы родня, но хозяева тут же раскопали, что раз она от ветви князя Владимира, то приходится мне троюродной племянницей, и тут никаких запретов нет.

В общем, в тридцать четвертом году нас очень торжественно обвенчали, было это в Топилино, собрались все Романовы, кто тогда был в живых, и император, и наследники, и великие княжны – в общем, чуть ли не три дюжины душ. Нам подарили роскошные подарки, даже был перстень с царской монограммой, а так и шубу, и деньги, и чайный сервиз, правда неполный, Императорского фарфорового завода.

А вообще-то, – говорил отец Электре, – я еще до ареста Лидии хотел выйти из игры, но медлил, было трудно, вокруг меня были только люди, которые знали меня как князя, как князя кормили, поили и деньги давали – по-другому я жить уже отвык.

Но вот, – продолжал отец в следующее воскресенье, – Лидии не стало, и настроение мое начало меняться. На зоне я то и дело вспоминал, как часто люди, которые нас окружали, проклинали товарища Сталина, мечтали, что скоро Америка с Англией нападут на СССР и уничтожат его. Мне такие разговоры

никогда не нравились, а тут вдруг я, думая об этом, снова вернулся к своей давней работе о литургике. Стал понимать, что товарищ Сталин – деятель чисто религиозный, чего мы не хотим видеть.

Я не винил власть ни в смерти Лидии, ни в смерти девочки, понимал, что они жертва. Необходимая искупительная жертва, чтобы земля, которая сделалась царством антихриста, очистилась и снова обратилась к Богу. Думал, что вот он, Сталин, соорудил огромный алтарь и, очищая нас, приносит жертву за жертвой, что необходимы гекатомбы очистительных жертв, чтобы искупить наши грехи. И я не знаю, получится у Сталина или не получится, в любом случае, он делает всё, чтобы нас спасти. Невинные, которые гибнут, станут нашими заступниками и молитвенниками перед Господом, оттого и нам необходимо, пока мир не отстал от антихриста, помочь им спастись от греха, то есть ме?ста на земле им так и так нет. Главное же – они, приняв страдания здесь, будут избавлены от мук Страшного суда. С этими мыслями, – закончил отец, – я и отсидел почти весь срок”.

Электра и дальше, во время наших ночных чаепитий, много вспоминала об Ухте. Я что-то спрошу, она станет отвечать и шаг за шагом снова вырулит на трехлетнюю гастроль Жестовского – великого князя Михаила Романова – по городам и весям. Скажет, что и так понятно, что они не одевались, как великие князья. И снова: люди были убеждены, что они должны жить тайно, под чужими именами и, конечно, ни под каким предлогом не признаваться в своем происхождении – последнее чересчур опасно. Должны разыскивать друг друга, при необходимости скрываясь в пещерах или под монашеским одеянием.

Было ясно: то, что они до сих пор живы, само по себе чудо. И что надо продолжать таиться, тоже разумелось. Они и таились: обычно носили какие-то бесформенные рубахи из грубого, серого сукна, напоминающие монашеские рясы. “Немалое число из знавших нас, – говорил Жестовский, – считало, что мы и вправду приняли постриг: им казалось, что, пережив то, что мы пережили, это во всех смыслах естественно”.

Больше того, поскольку монах-мужчина вызывал много подозрений, отец не раз слышал, что великие князья чаще и чаще выдают себя за монашек, соответствующим образом и одеваются. Монашки, во всяком случае до середины тридцатых годов, никакого интереса у властей не возбуждали.

В другой раз Электра скажет, что слышала от отца, что многие из встреченных им Романовых были настоящими юродивыми и это тоже не вызывало удивления. Похоже, люди были убеждены, что когда раньше ты жил на такой недоступной для простого смертного высоте, как царский дворец, а потом в одночасье сверзился на дно, сделался нищим, гонимым беглецом, которого в любую минуту могут арестовать и тогда наверняка расстреляют, – подобный перепад ничто, кроме юродства, вместить не может. Рассказывал про бузулукского Николая II, которого он хорошо знал. Как царь бегает по базару, сам весь оборванный, а за спиной худой мешок, из которого валится на землю какая-то ерунда: скомканные бумажки, катушки для ниток, обрезки кожи, гвозди и аптекарские гирьки. И вот отец останавливает его и спрашивает, зачем он на себя напялил этот мешок, а Николай II отвечает, что мешок у него такой же рваный, как советская власть, и тут ничего не поделаешь.

“Отец, – говорила Электра, – любил детали: тут же добавил, что у всего был точный адрес. Рынок назывался базаром Советской стороны, напротив находилась лавка Центроспирта и место, где они разговаривали, почти что официально было закреплено за кликушей Чихачевой.

Отец тогда наслушался много разного о том, как спаслось их семейство. Чаще другого Романовы объясняли, что расстрельщики побоялись поднять руку на помазанников Божьих, сделали из соломы и старых платьев кукол, разрядили в них по обойме, потом развели во дворе большой костер, чучела сожгли, а пепел развеяли по ветру. Их же отпустили скитаться. Говорил, что, например, царевич Алексей время от времени скрывался под именем Настасьи Филипповны. Смеялся, что Настасья Филипповна была женщиной очень дородной и на лицо весьма приятной, правда, для этого Алексею приходилось бриться чуть не два раза в день.

Впрочем, беда тут была небольшой; наоборот, стоило ему представиться натуральным наследником престола, соответствующим образом одеться и себя вести, – доверия он не вызывал. Отец слышал, как за его спиной тут же начинали перешептываться, говорить, что из маленького, слабого Алеши не мог вырасти такой огромный лоб.

Но чаще других Романовых отец, – говорила Электра, – вспоминал того, первого, Михаила, о котором я вам, Глебушка, уже не единожды рассказывала. Несомненно, он произвел на отца сильное впечатление. Познакомились они еще в тридцатом году, когда отец был простым монахом и ходил по стране, собирая

деньги и вещи для беловодских старцев. Дело было в Калязине. Как я говорила, Глеб, – продолжала Электра, – тот Михаил был человеком довольно полным, да и вообще балагур и весельчак. Душа всяческих застолий, пирушек. И что если была возможность, он возил за собой настоящий гарем из трех послушников. Все трое, рассказывал отец, – ты это сразу видел – были к нему очень привязаны, а хозяева домов, в которых останавливался будущий помазанник, потом, когда он уезжал, разговаривая между собой, с восхищением повторяли, что вот после долгой пьянки, когда уже никто и на ногах не стоит, Михаил всё как огурчик и пользует свою ребятню чуть не до рассвета. Но если денег содержать такую армию у князя не было, он за плату договаривался с деревенскими мальчишками. И дважды, когда не смог с ними вовремя расплатиться (оба раза дело было в одной и той же деревне), его по причине этих долгов крепко били.

Но в общем относились к нему хорошо, можно даже сказать, очень хорошо. Человек он был не злой, во всех смыслах в доску свой парень. Вдобавок щедрый. Михаил дружил со служками, у которых были ключи от запертых храмов. По знакомству или за водку его пускали в эти дома Божии, и он целыми мешками таскал оттуда всякое добро, однако предпочитал мануфактуру. Дальше за бесценок сбывал, чаще же просто раздаривал ее деревенским. Бывало, что Михаила след простыл, а в деревню кому-то и бог знает откуда приходит посылка. В ней хорошая, почти что и не ношенная ряса, воздуха?.

Рассказывал дальше, что в честь этого Михаила однажды был устроен, как он сам его назвал, «царский пир». Было много народу, много водки и хорошей еды, и почти всё время пили за него как за наследника престола и просто хорошего человека. Гости разошлись заполночь, хозяева тоже пошли спать. Остались отец и Михаил. И вот великий князь стал хвастаться, что он уже не один год пирует как общепризнанный у монашек князь Михаил, потом принялся рассказывать, что три года назад его арестовали и обвинили в том, что он «притуплял» массы к строительству новой деревни.

Но он и тут вывернулся, объяснил следователю, что еще ребенком его стоптали лошади, вдобавок ударило оглоблей в спину, после чего, как начнет меняться погода, голова у него прямо раскалывается, и на всякий случай добавил, что он тогда теряет память и может сказать что угодно, даже назвать себя великим князем Михаилом.

«Следователь мне: “А врачи что говорят?”

Я: “Врачи сказали, что помочь ничем не могут, все дело в том, что у меня сохнут мозги после той оглобли.

В итоге и отделался всего полутора годами”».

На том же пиру Михаил, что называется, при всем народе, сидел в белой рубашке очень модного в те годы фасона, который назывался «ленинка». «Я ему, – говорит отец, – тихо сказал: “Какая хорошая у вас, великий князь, рубашка”. Он опрокинул еще одну рюмку и так же на ухо отвечает: “Если есть деньги, я каждый год хотя бы один раз еду в Москву поклониться Ленину”. Потом мы уже остались за столом вдвоем, он снова налил себе, и объясняет: “Раньше странники тоже собирали милостыню, чтобы съездить на поклонение в Иерусалим, и даже самый бедный человек давал им ради спасения своей души хотя бы копеечку, а я еду к вождю мирового пролетариата, мощи которого не то что у Христа – все в целости”. Опять же в монастырях то, что осталось, лежит под замком, а тут открыто и сам Ленин – восково-белый и как живой, словно только что уснул. Добавил, что ездил уже четыре раза и его еще влечет, так что при первой возможности снова поедет и опять начал хвастаться, что “обделать” монашек и буржуев ему что два пальца обоссать».

Рассказывая, как сам странствовал великим князем Михаилом, отец с большой обидой вспоминал слободу Стешнево возле города Уфалея, где-то на границе Урала и Башкирии. В тридцать третьем году в этом самом Стешнево снова собрался чуть не весь царский синклит: и Николай II, и царевич Алексей, и он, великий князь Михаил, со своей будущей женой великой княжной Лидией. Похоже, именно из-за того, что рядом была Лидия, отец тогда так остро принял, куда острее, чем раньше, говорил он, что и бывшего царя Николая II, и царевича Алексея те, кто давал им кров, ставили выше него, великого князя Михаила, куда выше. Хотя по закону должно было быть иначе.

«Ведь Николай II, – повторял отец, – сам и добровольно – я его к этому не принуждал – отрекся от престола в мою пользу. Причем и за себя, и за сына. Но очень чтимая в Уфалее игуменья Матрена – остальные шли у нее на поводу – за нашей спиной объясняла, что я, Михаил, хоть и царского корня – с этим никто не спорит, – но мои права на престол плоть от плоти революции, то есть в них нет ничего священного, они чистой воды бесовщина, соответственно надежды стать однажды богоугодным монархом у меня нет и никогда не будет.

Конечно, – рассказывал отец, – ни мне, ни Лидии в лицо это не говорили, но показывать показывали при любой возможности. Например, пируем, – снова стал объяснять он, – но на самых почетных местах нас и не ищи. Во главе стола всегда Николай II, по правую руку от него царевич Алексей, им же и лучшие куски, а мы с Лидией или по левую руку, или еще дальше. Лидия, – говорил отец, – подобную несправедливость переживала очень тяжело, особенно когда стало ясно, что она вынашивает моего ребенка. Потому что было понятно, что и тот, кого она родит, останется на вторых ролях»”.

Электра: “Я отцу в тот раз: «А может, всё дело в том, что и царь и царевич были очень достойными людьми, потому их и привечали?»”

“Да ты что, – отмахивается он, – сам про себя царевич рассказывал, что прежде занимался свободной профессией – спекулировал маслом, поросятами, а однажды купил на фабрике двадцать пар сапог и торговал уже ими по людям. Но, – продолжал отец, – никому это было не важно, а важно то, что все знали, что он спасся из-под расстрела по Божьему произволению, как невинное дитя. А так он, конечно, был полный дурень, – продолжал отец. – Взрослый балбес, уже и женат, а играется, будто малый ребятенок. Как останется один, балуется с дверной накладкой, она у нашей игуменьи была из железа, часами тренькает-тренькает, и улыбка во весь рот. Видно, что ему только это и надо, а царство – кому от него прок?”

Часто отец и по мелочам рассказывал, как они жили с Лидией. Начнет, например, что у них за спиной много судачили, говорили разное – хорошее и плохое.

Электра: “Хорошее ладно, ты мне скажи, что плохое?”

Отец: “Из плохого среди прочего говорили, что нынешние Романовы – кочующая цы?гань. Другой раз идешь и слышишь, что вот мы не умели править, а теперь жалуемся, что нам тяжело живется. Редко кто не осуждал Александру Федоровну, в ней вообще видели корень всех бедствий, говорили, что для нашей семьи она стала проклятьем. Это даже не за спиной – говорили прямо за столом”.

Я: “Ну и что, Николай II не возражал?”

Отец: “Нет, во всяком случае, при мне не возражал, к тому времени с ним давно уже жила другая женщина. Она эту Александру Федоровну могла так отчехвостить! При ней об Александре Федоровне говорить не стоило”.

Я: “Ну, а в чем конкретно ее обвиняли?”

Отец: “Ну, например, в том, что она оставила детей на произвол судьбы и революции. Согласись: что тут скажешь? Ведь так и было. От этого не уйдешь. А вообще-то, – говорил отец, – нас не обижали. Лидия, – рассказывал он дальше, – когда наставляла, как держаться, когда во мне опознают великого князя, что и на какие вопросы отвечать, чтобы без сучка без задоринки, говорила, что сама в массах дочерью царя она никогда себя не объявляет, считает, что опасно, да и вообще не нужно. Говорила: «Меня и так знают как великую княжну, лишний раз светиться нет необходимости. Конечно, и меня обсуждают, но, как правило, с сочувствием, много жалеют и из-за туберкулеза, и вообще. Я им кажусь слабенькой, неухоженной, уцепилась коготками за жизнь, но прочности во мне никакой.

В тех обстоятельствах, – говорила она отцу, – в какие мы с тобой попали, женщине ведь тяжелее. Но помогают мне, – продолжала Лидия, – не потому, что хворая: слышала и не раз, как обсуждали, сколько мне дать: столько, сколько прошу, или половину, а может, вообще отказать, и сходились на том, что вот сейчас мне дают деньги, белье, другие вещи, а когда мы, Романовы, вернемся на трон, их за добро, которое они мне сделали, бесплатно свозят в теплые края, в Крым, где много фруктов и море». Она советовала и мне вести себя так же”.

“В следующую субботу, – продолжала Электра, – я опять завела разговор на ту же тему. Говорю отцу: «Ну и что, следовал образцу?»”

Отец: “Да, в общем, да, Лидия меня плохому не учила; что мы как Романовы сумели прокочевать почти три года, всё это только благодаря ей. Ходили по лезвию; что рано или поздно сорвемся, оба хорошо понимали. Иногда, – продолжал отец, – мы себе, конечно, позволяли больше, чем следовало. Особенно поначалу, когда я был разут и раздет. Так, в одном доме, уже прощаясь, Лидия пожаловалась, что мы с ней едем в Москву, а бельишко у меня совсем худое; хозяин смерил меня глазом, что-то прикинул и говорит жене: «Дай ему пару моего белья да на дорогу положи хлеба, банку варенья и колоду карт, а то и вправду едут черт знает куда».

А больше, чтобы что-то выпрашивать – и не припомню. Николай II, тот был проще; бывало, чуть что не по нему, начинает укорять хозяев, говорит: «Я ведь один у вас, не забывайте», – но и это мягко, с печалью. Другое дело – жена царевича Алексея, та была просто оторва – нагла, нахраписта. Если недовольна дарами, принимается грозить, что вот-вот муж займет престол и тогда она это недоброхотство нашим хозяевам еще припомнит. В общем, – подвел он тогда итог, – мы были разные”.

“Помню, – продолжала Электра, – в другой раз, когда речь зашла о том же, я говорю отцу: «Ты всё ссылаешься на Лидию: “она научила”, “по ее наущению”, а сам ты что – не понимал, как вы рискуете? Стоит кому-то стукнуть – и погорите как миленькие»”.

Отец: “Конечно, понимал. Тут всё на поверхности, любой бы понял, но я как раз и объясняю, что мы не зарывались, вели себя осторожно. Если я или Лидия почуем опасность, тут же в кусты, открещиваемся от Романовых будто от нечистой силы. Да и так, если меня кто в лоб спрашивал: «А ведь мы вас узнали, вы великий князь Михаил», от ответа уйду, скажу: «Да, ваша правда, происхождение мое очень высокое, оттого и жительствую я между небом и землей»”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/sharov_vladimir/carstvo-agamemnona

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить